



ЕЛЕНА СКРЯБИНА

В БЛОКАДЕ

(ДНЕВНИК МАТЕРИ)

1964

All rights reserved

Все права сохраняются за автором

Herausgeber: Helene Scriabine, 28 West Park Road,
Jowa City, Jowa, U. S. A.

Manufactured: I. Baschkirzew Buchdruckerei, 8 München-Allach
Peter-Müller-Straße 43.

ВЕНОК НА МОГИЛУ СЫНА

Для счастья у этого человека было все, даже с избытком: молодость, здоровье, обаятельная внешность, любовь, университетский диплом, прекрасное начало жизненной карьеры. Вместе со своей невестой он приехал из Америки, чтобы провести лето на юге Европы. По дороге из Венеции в Афины они остановились на несколько часов в Македонии, именно в городе Скопле, откуда собирались выехать с восходом солнца.

Но остановка оказалась роковой. На рассвете произошло страшное землетрясение, молодые люди погибли под развалинами отеля. Об их смерти узнали только по машине, найденной на улице около гостиницы.

Такой беспремерный по своей нелепости трагический случай и был причиной выхода в свет данной книги, автором которой является мать погибшего Юрия Скрябина. Однако событие, послужившее канвой для этой повести, не связано с личной драмой. Книга представляет собой дневник, в какой-то мере отражающий первый этап минувшей мировой войны. Это — записи, сделанные на одном из самых тяжелых фронтовых участков —

в голодном, отрезанном от мира Ленинграде, где ежедневно умирали тысячи жителей.

За двадцатилетие, прошедшее со времени осады этого города, написаны десятки произведений, в которых блокада показана во всевозможных вариантах и жанрах, но тема далеко не исчерпана. Например, во второй половине текущего 1964 года появился большой роман Александра Крона «Дом и корабль», полностью посвященный жизни блокированной блистательной экс-столицы России.

Как правило, в произведениях советских авторов на эту тему лейтмотивом является героизм плюс советский патриотизм. В романах, повестях, поэмах много говорится о жертвенности, об организаторской роли партии, о высокой сознательности населения, воспитанного коммунистами.

Зато довольно скупо сказано о человеческих страданиях, о голоде постигшем миллионы людей в результате непредусмотрительности властей. Сказано ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы картина не была совершенно лишена признаков правдивости.

О блокированном Ленинграде написано кое-что и за рубежом. Пожалуй, наиболее значительным произведением на эту тему является роман Анатолия Дара «Блокада». Но в нем на первый план выведены люди-хищники. Это те, кто в царстве голода и смерти пользовались своим выгодным положением и создавали личное благополучие на краденых у народа пайках.

Книга Елены Скрыбиной — повествование иного порядка. Прежде всего это — искренние и волнующие записи матери, самоотверженно борющейся за жизнь своих детей, отдававшей последние силы, чтобы отстоять эту жизнь в условиях голода, холода, произвола и смерти. Автор не изображает добродетельных героев и не останавливается подробно на виновниках бедствия. Главным образом в дневнике говорится о рядовых интеллигентных людях, не имеющих ни партийных, ни служебных преимуществ. Одни из них более стойкие, другие — теряют голову, звереют, мучаются сами и тиранят своих близких. Одни с радостью ждут прихода немцев, другие только мечтают как бы вырваться из кольца блокады.

Нет в дневнике стремления подчеркнуть трагичность положения, сгустить краски. Все тут изложено просто, без восклицательных знаков, почти со сдержанностью летописца. Вот в записи от 12 ноября 1941 года несколько строк о том, что в городе началось людоедство:

«Рассудок допускает даже эту страшную возможность: люди дошли до предела и способны на все. Муж меня уже предупредил, чтобы я не пускала Юрочку на прогулки далеко от дома даже с няней».

В другом случае говорится, насколько обычным явлением стала смерть:

«Смертность растет с каждым днем. Говорят, что ежедневно умирает до трех тысяч

человек. Думаю, что это не преувеличение — город буквально завален трупами. Родственники или знакомые везут на кладбище покойников на маленьких салазках, связывая по два, даже по три трупа. Можно встретить и большие сани, на которых покойники уложены, как дрова, и прикрыты сверху парусиной. Из-под парусины торчат голые синие ноги, — убеждаетесь, что это совсем не дрова».

Не обойдено молчанием и страшное зло осажденного города: использование людьми своего служебного положения, бессердечный эгоизм тех, в чьих руках находилось продовольствие. Однако и тут автор не впадает в обличительно-истерический тон, только констатирует — иногда с обидой, иногда с горькой улыбкой. Полностью оправдано и то, что в дневнике часты упоминания о пайках, о насущном хлебе, это совершенно естественно: о чем другом могли думать люди, умирающие с голода?

Все особенности данной, скромной по размерам, книги, не претендующей на высокую литературную марку и не преследующей цели стать историческими мемуарами, делают записки Елены Скрабиной ценным документом, отражающим жизнь осажденного города, документом, проникнутым к тому же большой человеческой теплотой и глубоким чувством матери.

Арк. Гаев

В БЛОКАДЕ

Памяти сына Юрия

26 октября 1963 года.

Эта мысль пришла ко мне внезапно, когда я осталась одна. Возникла она по двум совпавшим совершенно разным событиям, связанным общностью дат, вернее, числом — 26. Сегодня — один из дней наших семейных торжеств — день рождения старшего сына. Сегодня же миновало ровно три месяца, как я потеряла второго сына — он погиб 26 июля. Жизнь и смерть. Радость и горе. Они идут рядом. Над этим я задумалась после сегодняшнего традиционного ужина. Так пришла мысль извлечь из вороха всевозможных давних бумаг — писем, лекций, черновиков — старую тетрадь, вывезенную когда-то из Ленинграда. Свыше двадцати лет я не брала ее в руки. Хранила как документ о пережитом, которое неизгладимо в памяти.

Это — мой дневник. Торопливые, черновые и неотшлифованные записи, сделанные в первые месяцы войны и блокады города. В эту тетрадь я заносила личные впечатления, переживания, случайные наблюдения, некоторые факты — частицы

жизни, похожей на страшный сон. Но больше и чаще я касалась узкого круга близких людей. Прежде всего своей семьи. Сегодня я смотрела на эти записи по-иному. При всем своем несовершенстве они показались мне в какой-то мере повестью о жизни и смерти, о невозвратных потерях, о редких неожиданных радостях.

Задумав поделиться этими воспоминаниями с неизвестным читателем, я решила оставить дневник в его первоначальном виде. Только дописала несколько незаконченных когда-то строк, изменила два-три имени.

.
.

Воскресенье, 22 июня 1941 года

Утро было спокойное, как озерная гладь в безветрие, солнечное, обещавшее благодатный день. Вместе со своей приятельницей Ириной Ключевой я собралась отправиться в Пушкин навестить больного мальчика, прикованного туберкулезом к постели. Мой старший сын Дима со своим неразлучным Сережей готовился к давно запроектированной экскурсии в Петергоф. Мальчики там еще не были, а сегодня в Петергофе открытие фонтанов. Было мирно и радостно на душе. В распахнутые окна вливались потоки солнца, утренняя свежесть. За дверью уже затопал босыми ножками по полу мой пятилетний Юра. Я заканчивала срочную работу на машинке и торопилась это сделать, чтобы освободиться к условленному времени поездки.

Около девяти часов раздался телефонный звонок. Звонил муж с работы. Голос его был необычен, говорил он словно на бегу. Ничего не объясняя, попросил никуда сегодня не уезжать и задержать Диму. Но Дима уже уехал. От предупреждения мужа родилась неясная тревога, но все же я была очень далека от мысли, что может произойти какая-то катастрофа.

В двенадцать часов мы с мамой услышали по радио речь Молотова . . . Вот оно что — война! Германия уже бомбила города Советского Союза. Речь Молотова прерывистая, — похоже, что не хватает дыхания. Неуместными кажутся его бодрящие призывы. И сразу возникло ощущение: что-то огромное надвинулось и душит.

После передачи выбежала на улицу. Город в смятении. Люди торопливо обмениваются словами, наполняют магазины, скупают все, что попадает под руки. Бессмысленно мечутся по улицам. Многие устремляются в сберкассы за своими сбережениями. Эта волна захватила и меня. Я тоже попыталась получить рубли, которые числились на сберегательной книжке. Но оказалось, что уже поздно: в кассе денег не стало, выдачи прекратились. Народ шумел, требовал. А июньский день пылал, жара невыносимая. Кому-то делалось дурно, кто-то отчаянно бранился. Только к вечеру все странно утихло. Будто притаилось перед грозой.

23 июня.

Провели бессонную ночь. Легли рано, в одиннадцать, но заснуть не пришлось. Слишком напряжены нервы. Беспокойные мысли лезут в голову. Что с нами будет?

Еще вечером позвонил муж и сказал, что домой ночевать не придет — его оставили дежурить на фабрике. А это было особенно неприятно в та-

кое тревожное время. Еле вздремнула во втором часу ночи, как вскоре была разбужена оглушительной стрельбой. Ничего не могла понять. Казалось, что уже бомбят Ленинград, и все вокруг рушится. Наша семья и другие жильцы собрались в передней как в наиболее безопасном месте — там нет окон, и потому стрельба казалась глуше. Ораторствовала наша соседка Любовь Николаевна Куракина, муж которой, в прошлом партиец, сидел уже два года по обвинению в контрреволюции. Хотя коммунистические настроения Куракиной после ареста мужа и пошатнулись, но в эту ночь под грохот зениток она забыла все обиды. Убежденно твердила о непобедимости советской России. Уверенность Куракиной действовала в какой-то степени успокоительно, хотя тревогу унять было невозможно. На высоком сундуке сидела бывшая домохозяйка Анастасия Владимировна и саркастически улыбалась. Она не скрывала своей ненависти к советской власти и видела в войне и победе немцев единственное спасение.

Во многом я разделяю ее взгляды, но меня раздражает ее улыбка. Два чувства вступили в спор: желание верить, что Россия не будет уничтожена и сознание, что только война является реальной возможностью для освобождения от террористического режима.

Часа три палили зенитки, — огромное количество их установлено в самом Ленинграде и вокруг него. К утру все опять погрузилось в тишину.

Того же 23 июня, вечер.

День прошел сравнительно тихо. Приезжал усталый после ночного дежурства муж. Старался ободрить, поднять настроение. Я ездила в кассу Александринского театра продать взятые недели две тому назад билеты на «Дворянское гнездо», пьесу по одноименному роману Тургенева. Мне очень хотелось посмотреть эту постановку, которую все так расхваливали, но перспектива сидеть в театре и ожидать повторения канонады убила желание.

24 июня.

Сегодня началось «великое переселение народов» — к нам явилась семья Тарновских. Их квартира вблизи Путиловского завода, и они опасаются, что этот промышленный район будет подвергнут бомбардировке раньше других. Пришлось потесниться. Одну из наших четырех комнат отдала молодым Тарновским — Юрию с женой, а мать Юрия поселилась в моей комнате, на кушетке. Теснота даже по нашим советским условиям. Мать моя ворчит, но я довольна. В опасное время лучше быть окруженной людьми. Вероятно, не даром говорят, что на миру и смерть красна.

25 июня.

Теперь наша семья редко бывает в полном составе. Сегодня вечером сидим мы втроем: я, Дима,



*Юрочка Скрябин за несколько
дней до начала войны.*

седка Любовь Николаевна ворвалась с диким воплем: «Немедленно прячьте куда-нибудь Юру!»

Торопясь, она сообщила последнюю новость: отдан приказ вывезти из Ленинграда всех детей, матерям не разрешается сопровождать, посылают в Бологое, Старую Руссу и тому подобные места. А там тоже опасно — немцы наступают с невероятной быстротой и бомбят. Я так испугалась, что о сне не могло быть и речи. Сердце колотилось, мысли перепутались, не знала что делать, на что решиться. Расстаться с Юриком — это для меня такой ужас, что я готова пойти на все. Твердо решила: буду сопротивляться, ни за что не отдам сына. Всю ночь металась, засыпая лишь на несколько минут. Преследовали кошмары. Чудилось: Юрия вырывают у меня из рук, я тяну его обратно, к себе, а силы покидают, я чувствую, что не могу больше бороться.

27 июня.

В час ночи резкий настойчивый звонок. Кто жил в Советском Союзе, знает, что значит такой особенно длинный, ночной звонок, от которого останавливается сердце. Так звонят, когда приходят с обыском или ордером на арест. На этот раз оказалось другое — повестка военного комиссариата. Ее мы ожидали. Хотя во время финской кампании муж не был призван, но теперь положение иное.

28 июня.

Сегодняшняя суббота — день больших волнений. Они начались телефонным звонком моей приятельницы Холмянской, жены коммерческого директора фабрики, на которой работает мой муж. Она предлагает, чтобы вместе с так называемым очагом фабрики выехать и вывезти детей в направлении Москвы. В дальнейшем можно жить и работать в этом детском очаге. Холмянская сообщает, что она со своим ребенком тоже едет, убеждает не раздумывать, так как, по ее мнению, это единственная возможность для меня остаться вместе с Димой и Юриком. Кроме того, она говорит, что жителей Ленинграда ждут тяжелые испытания.

Я поехала на фабрику. Директор повторил слова Холмянской и включил меня в число воспитательниц. Складывается на первый взгляд удачно. Но одновременно возник серьезный вопрос. Дело в том, что Диму и Юру можно взять с собой, а мою мать и нашу старую няню, нельзя. Вернулась с этим известием домой. Мать разрыдалась, пугается мысли, что таким образом мы расстанемся навсегда. Няня подавлена, но молчит. Я словно между двух огней. С одной стороны прекрасно понимаю, что нужно спасать детей, а с другой — жаль беспомощных старушек. Разве можно оставить их на произвол судьбы?

Мне не верится, что в Ленинграде может быть голод. Ведь нам все время твердят о громадных

запасах продовольствия, которого якобы хватит на много лет. Что касается угроз бомбардировки Ленинграда, то опять же мы все время слышим о сверхмощной противовоздушной обороне, о том, что город не может быть подвергнут обстрелу. Если хоть наполовину это правда, то зачем куда-то бежать?

29 июня.

Приходила двоюродная сестра Марина. Она устрашена войной. Готова лететь без оглядки куда угодно. Сначала хотела отправить своего десятилетнего сынишку со школой, в которой он учится, потом выяснилось, что эвакуируют Эрмитаж, где она работает, и что она может сына взять с собой. Меня она называет сумасшедшей за то, что я еще раздумываю и не еду с детским очагом фабрики.

В результате всех этих разговоров, споров и советов я уложила кое-какие вещи, приготовила кульки с продуктами и стала ждать, что будет. Мои старушки, которые вчера так были ошеломлены известием о возможности уехать мне с детьми, теперь решились на жертву. Начали уговаривать меня обязательно эвакуироваться, чтобы спасти детей.

Но решать пришлось не нам. Раздался телефонный звонок. Рыдающим голосом Холмянская сообщает, что все рухнуло. Работницы фабрики взбунтовались, чуть не разнесли фабричный коми-

тет, когда узнали, что с детским очагом отправляют, так сказать, фабричную интеллигенцию. В общем поездка не состоится. Я не могла скрыть своей радости: мой мучительный вопрос разрешился обстоятельствами, от меня не зависящими. Теперь нет нужды бросать маму и няню. Не приходится ехать.

30 июня.

Однако детей усиленно эвакуируют. Почти все знакомые отправили своих малышей и подростков. Марина уехала со своим Олегом куда-то в Ярославскую область. Моя соседка Любовь Николаевна полетела в Белоруссию, где уже второй месяц ее дети находились в какой-то деревне. Когда она доберется туда? С лицом, не просыхающим от слез, выряжала сегодня свою трехлетнюю дочку моя близкая знакомая Елизавета Сергеевна, ее еле уговорили на этот решительный шаг родители и муж. Страшно расставаться в такой момент.

Зенитки не стреляют. Неужели правда, что Ленинграду не угрожают воздушные налеты?

1 июля 1941 года.

Потрясена страшной новостью. Арестовали мою подругу и сослуживицу Бельскую. В чем дело? Одна из многочисленных загадок.

Конечно, никто ничего не объясняет: пришли ночью, сделали обыск, ничего не взяли, ничего не

нашли, а ее увели. Знаю о неприязненном отношении к ней декана нашего института. Ходили разговоры, что якобы отцом ее внебрачной дочери был французский инженер, временно, как командировочный, проживавший в Ленинграде. Возможно, обвинение в заграничных связях. Меня очень тревожат мысли о ее судьбе. К тому же я знаю положение ее семьи: брат мобилизован, сестра больна туберкулезом, старушка мать и трехлетняя девочка. Я навестила их, провела там полчаса. А у меня дома решили, что и меня арестовали.

4 июля.

Ленинградские волнения и полная неуверенность в завтрашнем дне привели к неожиданному решению: поехала в Тярлево и сняла дачу. В этом году все дачи свободны, выбирай любую. Раньше я и не пыталась бы это сделать — в Тярлево цены всегда очень высокие. Теперь картина другая — дачи пустуют.

5 июля.

Самолеты и здесь летают. Преимущественно немецкие. Иногда можно наблюдать воздушные бои. Люди еще не привыкли к войне, относятся к ней легкомысленно. Во время налетов не прячутся в подвалы, а как раз наоборот — высыпают на улицу. Атмосфера беспечности действует, — мы тоже, как сторонние зрители, следим за боями в воздухе.

Известия в газетах все тревожнее. Города один за другим переходят в руки немцев. Мимо нас громяют бесконечные поезда с женщинами и подростками, мобилизованными на рытье окопов. Муж остался в Ленинграде. Он должен окончить какие-то курсы.

8 июля.

Пишу, вернувшись из Ленинграда. Навещала мужа, наведалась на квартиру. Все виденное и слышанное безрадостно. Люди продолжают метаться. Каждому кажется, что район, в котором он живет, самый опасный, а у знакомых — спокойнее. В нашу квартиру перекочевали дядя с тетушкой. Все по той же причине — наша квартира будто надежнее. Заняли комнату Юры. Я, конечно, разрешила. Сейчас мы не живем в городе, а если даже и вернемся, то о комфорте думать не приходится.

Каждый день новые тревожные новости. То уверяют, что немцы обязательно пустят газы (это меня пугает больше всего). То идут слухи, что через месяц Ленинград будет занят. Но чаще говорят о том, что скоро наступит голод, так как крупные продовольственные запасы, о которых твердили газеты, — очередная ложь.

На рытье окопов людей шлют тысячами, десятками тысяч. Все учреждения превратились в мобилизационные пункты: служащих, пришедших на работу, обычно организуют в бригады и посы-

дуют в прифронттовую полосу. Едут барышни в сарафанчиках и босоножках, мальчишки в трусах. Им даже не разрешают заехать домой переодеться. Неизвестно, велика ли от них польза, ведь они и лопаты как следует в руках держать не умеют. Многие простуживаются, заболевают, а отказаться нельзя.

Тарновская, которая со своей семьей живет в нашей квартире, попала в число этих жертв. Я застала ее лежащей в кровати с высокой температурой. Она вчера вернулась с места своей работы. Оказалось, что кроме легкого сарафанчика на ней ничего не было из верхней одежды. Теперь она, пожалуй, слегла надолго.

Вчера же вернулся из концентрационного лагеря Куракин, муж нашей соседки по квартире, Любови Николаевны. Два года она хлопотала, добивалась пересмотра его дела, но все было безуспешно. Теперь война помогла, — его выпустили. Вначале Любовь Николаевна была на седьмом небе, не верила, что он вернулся. Но первый пыл прошел, и между ними установились какие-то странные отношения. Он — страшен. Подавлен, пуглив, боится рот раскрыть. Она потихоньку от него нашептывает мне, что он там перенес. Рассказывает, что его сильно и многократно били, требуя каких-то признаний. У него сломано ребро, на одно ухо не слышит.

Еще рассказывает Любовь Николаевна о своих приключениях, — ведь она этими днями верну-

лась из Белоруссии, куда ездила за своими детьми. Пробралась в самое пекло, — соседняя деревня была уже в руках немцев. Рассказывает, что видела немцев в нескольких шагах от себя. Больше всего пугало ее то, что с ней был партийный билет, запрятанный в чулке. Была уверена, что если найдут билет, ей не сдобровать. А завершилось благополучно. Детей нашла, часть пути ехала с ними в поезде, часть — на грузовике, а в некоторых местах — пешком. Но детей привезла живых и невредимых.

11 июля.

Получила вызов из Ленинграда. Помчалась туда. Наше домоуправление предлагает ехать с транспортом на Волгу, до Горького. Я отказываюсь — ведь все попытки эвакуироваться ни к чему не привели. Встретилась с Холмянской. Оказывается, что она все-таки была послана в район Бологого с группой фабричных детей. Над ними все время летали самолеты, бомбили беспощадно, перепуганные дети кричали и плакали, просились домой к родителям. Многие матери получили право взять отпуск и ехать с детьми, но это только усложняло обстановку. Обезумевшие женщины наполняли вокзалы и поезда, рвались навстречу наступавшей немецкой армии, нервное состояние детей от этого только возрастало.

О детях я слышу на каждом шагу. Мне кажется, что в таком страшном потрясении, как война,

мысль о детях самая беспокойная, самая острая. Доводящая до потери рассудка. Двоюродная сестра Людмила в эти дни отправилась в прифронтовую полосу, под Старую Руссу, куда месяц назад отправилась на целое лето детей. Сегодня утром появился муж приятельницы Елизаветы Сергеевны, который ездил за своей трехлетней дочерью. Хорошо ему! Как ответственный работник, он пользуется автомобилем. И все же еле разыскал девочку, объехав несколько сел и деревень. Привез ее чуть ли ни в одной рубашонке. Однако далеко не всем ленинградским отцам и матерям выпадает на долю такое счастье, — найти своих детей, отправленных на летний отдых.

14 июля.

В Тярлево я иногда забываю, что идет война, что она так близко. Почти рядом. Успокаивающе действует сама природа, благодатные летние дни. Сегодня лежала на берегу Пушкинского озера. Синее небо, синее озеро, зеленая рамка берегов. И тишина. Не слышно голосов, в аллеях никого не встретишь. Только где-то вдали сквозь зелень серебрятся стены дворцов. Можно даже забыть о том, что творится на беспокойной земле. Но не совсем: порой долетают разноголосые гудки тревог, возвращают к действительности.

18 июля.

Сегодня введены карточки на хлеб, масло и другие продукты. Норма хлеба — 400 граммов на

день, масла — 600 граммов на месяц. Еще не страшно, жить можно. Открыты специальные коммерческие магазины, которые полны продуктами. Но цены очень высокие. Например, килограмм сахара стоит семнадцать рублей и все в том же духе. Народ заходит, смотрит на цены и выходит из магазина, ничего не купив.

Весь вопрос в деньгах. Их очень мало у людей, и редко кто откладывал на черный день. Впрочем, если у некоторых и были крупные сбережения, то воспользоваться ими невозможно: с первого дня войны вышло распоряжение не выдавать более двухсот рублей в месяц. А на эти деньги при удесятеренных ценах много не купишь.

Мне думается, что все эти магазины имеют значение скорее психологическое, чем практическое. Когда видишь витрину с продуктами, то меньше доверяешь разговорам о предстоящем голоде. А мысли о нем угнетают, страшат. Мы помним годы до нэпа, когда самым лакомым блюдом в Петрограде была конина, жаренная на касторовом масле. А голод тридцать третьего года, когда на черноземной Украине вымирали целые деревни!

Свои опасения я высказала Ирине Ключевой. Но она меня подняла на смех: «Да если что-либо подобное случится, то у тебя ведь сотни друзей в Ленинграде — с миру по нитке, голому рубашка. Уж твои-то дети будут обеспечены и нечего быть пессимисткой».

Дай Бог . . .

1 августа 1941 года.

Почти две недели не раскрывала эту тетрадь: апатия. Не хочется писать все о том же и о том же. А просвета нет. Какой уж там просвет, когда тучи сгущаются? Вести из города все тревожнее. Нас навестила племянница мужа со своей маленькой дочкой. Достала где-то в очереди печенья, поделилась с нами. Дети мирно играли, на миг казалось, что война с ее ужасами далеко. Нашу беседу прервала Зоя Михайловна Тарновская. Узнаем от нее о стремительном наступлении немцев. Они рвутся к Ленинграду.

Мы решили сидеть на даче, пока не возьмут Лугу, а когда возьмут — придется возвращаться в городскую квартиру.

2 августа.

За три часа пребывания в Ленинграде наслушаешься столько, что месяц не уснешь. Прежде всего разговоры о новой эвакуации. Но теперь вместе с детьми якобы поедут и матери. Однако, напуганные первой неудачной эвакуацией, матери не хотят ехать — ссылаются на всякие болезни, дающие отсрочку. У нас управляет домом женщина, близко принимающая к сердцу материнское горе. Она усиленно уговаривает меня оставить Ленинград. Моя мать не хочет двигаться, я не знаю, на что решиться. Пугает еще то, что по дорогам свирепствуют эпидемии тифа, холеры и других желудочно-кишечных заболеваний. Это помимо того, что эва-

куационные поезда подвергаются обстрелам и бомбардировкам с воздуха. Выехала семья директора фабрики, на которой работал муж, а вскоре с дороги пришло известие, что старший сын, мальчик четырнадцати лет, умер от брюшного тифа. Холмянская решила больше никуда не уезжать. Ее муж пошел добровольцем в армию. Старшего сына, двадцатилетнего студента, мобилизовали. Она осталась одна с малышом. Рассказывала, что когда сын уходил, она умоляла его не сдаваться в плен, так как, по слухам, немцы уничтожают евреев поголовно.

Мне стало жутко, когда я представила себе эту картину: мать умоляет сына покончить с собой. Неужели немцы уничтожают всех подряд только потому, что они евреи? Не могу допустить подобной мысли. Но Холмянская убеждена. Она умоляет меня спрятать, в случае беды, ее младшего сынишку и выдать его за родственника. Конечно, я ей обещала.

Моего мужа, видимо, оставят в Ленинграде. Холмянский хочет взять его в свою часть. Но муж отказывается хлопотать о своем переводе. Он — убежденный фаталист. Не желает ничего предпринимать, верен своему принципу: «Будет так, как должно быть».

За несколько минут до моего отъезда из Ленинграда позвонил Холмянский. Очевидно, из самых лучших побуждений решил сделать меня соучастницей осуществления своих планов относительно

мужа. Этот телефонный разговор я очень хорошо запомнила. Сначала Холмянский спросил меня, знаю ли я о предложении моему мужу.

— Да, знаю.

— Вы должны его убедить. Вы должны обязательно это сделать.

— Понимаю. И очень благодарю вас. Но вы же знаете Сергея, он же неизлечимый фаталист.

— Вот потому я и звоню. Убедите его. Поймите, что это необходимо. Ведь это в сегодняшних условиях чрезвычайно важно. Поймите еще — с каждым днем будет хуже и труднее . . .

На протяжении, пожалуй, десяти минут он настойчиво убеждал меня воздействовать на мужа, доказывал преимущества, которые связаны с переходом мужа на штабную работу.

4 августа.

Только сейчас, поздним вечером, когда делаю эту запись, — до сознания доходит, каким длинным и тяжелым был минувший день. Кажется, что сегодня впервые за полтора месяца я по-настоящему начинаю понимать войну. Сразу же по приезде в Ленинград узнала, что Холмянский убит. Все утро пробегала с его женой, чтобы получить достоверные сведения о его гибели. Бедная Фаина невменяема. Видя ее отчаяние и вспоминая человека, с которым мы были ряд лет дружны, я тоже не могу сдерживать слезы. В конце концов, узна-

ли подробности. Холмянский со своим заместителем (именно на эту должность прочили моего мужа) ехал в автомобиле где-то за городской чертой. Их стали обстреливать немецкие самолеты. Они бросились из автомобиля под уклон железнодорожной насыпи. В это время бомба попала прямо в полотно, и взлетевшими в воздух рельсами оба были убиты.

Мы вернулись с Фаиной в их пустую квартиру. Спустя некоторое время раздался звонок. Я пошла открыть дверь и увидела студентку, подругу старшего сына Холмянских. Бледная и взволнованная, она отозвала меня в другую комнату и сообщила, что Додик с его частью попал в окружение. Мы оторопело смотрели друг на друга, не знали, сможем ли сказать это матери. Решили пока молчать. Может быть, хоть это ошибка.

Двенадцать часов ночи. Над озером взошла ущербная луна. Она мертвецки бледная.

5 августа.

Бомбардировок пока не было. Заезжал Володя, муж Марины. Он важен и горд своим назначением — офицер действующей армии. Вооружен до зубов. Авторитетно уверяет, что Ленинграду никакая опасность не грозит: противовоздушная оборона великолепна, ни один самолет не будет допущен. Так ли?

Знакомые завидуют, что мы спокойно живем на даче.

12 августа.

Сегодня оставили дачу. Уехали последними. Все, кто еще рисковал пользоваться в этом году дачным отдыхом, раньше перекочевали в город. Говорят, что вот-вот заберут Лугу. А после Луги до Ленинграда — рукой подать. Волнуюсь за Диму. Ему пятнадцать лет, могут отправить на рытье окопов.

Немцы летают и целый день обстреливают из пулеметов. Какой смысл в этих окопах? Только губят людей.

13 августа.

Эвакуация продолжается, многие уезжают. Перебрасывают целиком крупные заводы со всем персоналом. Теперь меня угнетает то, что я решила остаться в городе. Магазины уже далеко не так полны. Раскупают все, даже дорогие продукты. Может быть, действительно лучше было уехать.

15 августа.

Как бы в ответ на мой мучительный вопрос сегодня получила повестку на обязательный выезд из Ленинграда. Разрешается взять всю семью. Направление можно выбирать самой. Могу выбрать Горький или Кавказ. И — опять колебания.

Ведь, если война идет такими стремительными темпами, то, наверное, скоро кончится. Зачем же

срывать с насиженного места? Может быть, целесообразнее переждать в своей квартире. Что делать?

17 августа.

Все же пошла к доктору. Получила отсрочку до 23 августа. Ведь мне нужно выиграть время, еще и еще обдумать положение. Теперь в запасе шесть дней, могу спокойно решать, что предпринять.

19 августа.

Все свободное время трачу на беготню по добыче продуктов. Очень трудно доставать их. Даже в коммерческих магазинах. Масла, например, можно купить только сто граммов. А я все-таки хочу сделать кое-какие запасы. Поэтому ежедневно приходится стоять в нескольких очередях.

20 августа.

Каждый день эшелоны эвакуируемых уходят на восток. Заходил прощаться мой бывший сослуживец Мартынов. Он уезжает с Ворошиловским заводом куда-то на Урал. Уезжают театры. Маринский отправлен в Пермь. Все это усиливает тревогу, сомнения все растут. Может быть, я делаю непоправимую ошибку, беря на себя ответственность за жизнь детей и всей семьи. Надо, наконец, на что-то решиться.

23 августа.

Ночью ушел последний транспорт. Сегодня дорога уже отрезана. Ленинград окружен, и мы попали в мышеловку. Что я натворила своей нерешительностью!

25 августа.

Горячка по закупке продуктов достигла невероятно высокого градуса. Все исчезает. Случайно узнаешь, например, что на Петроградской стороне что-то выдают — летишь туда. Оттуда — за Нарвскую заставу. Потом — на Васильевский остров. Скупаешь все, что попадается. Но ничего существенного, питательного достать невозможно. Магазины почти пусты. Всюду громадные очереди. Мгновенно создается толпа, если в коммерческом магазине появляются сахар или масло. Сегодня встретила мать Ирины, она шепотом сообщила, что повсюду разбросаны листовки, в которых говорится о необходимости запастись продуктами только на две недели, а затем город будет сдан.

28 августа.

С утра до вечера в очередях. Ничего нового. Находимся в напряженном ожидании.

1 сентября 1941 года.

Сегодня закрыли все коммерческие магазины. Нормы продуктов по карточкам снова снижены.

Необходимо добывать припасы другими путями. Многие ездят в окрестности, свободные от немцев, собирают там картофель и овощи на полях, оставленных населением.

5 сентября.

Вернулись в доисторическую эру: жизнь свелась к одному — поискам пищи. Подсчитала свои продовольственные ресурсы. Выходит, что моих запасов еле-еле хватит на месяц. Может быть, позднее положение изменится. А на какую перемену надеюсь, — сама не знаю. Теперь вплотную подходим к самому страшному — голоду. Завтра собираемся с Любочкой Тарновской поехать за город менять папиросы и водку, полученные в ларьке.

7 сентября.

Утром сидела с Юриком на бульваре. К нам присел бывший мой однокурсник Милорадович. Без предисловий завел разговор о том, как он счастлив, что немцы уже стоят под городом, что их — несметная сила, что город будет сдан не сегодня — завтра. Хвалил меня, что не уехала. «А это на всякий случай, — показывает он мне маленький револьвер, — если ожидания меня обманут».

Я не знала, как реагировать на его слова. Мы привыкли не доверять людям. А таких, вроде него, теперь много. С нетерпением ждут немцев, как спасителей.

У нас четыре дня был старенький мой дядя, врач из Пушкина. По совету знакомых он приехал в Ленинград, как в более безопасное место, где легче можно пережить вторжение немцев. Но, осмотревшись, дядя вдруг заявил, что отправится домой. Поезда уже не ходят, он решил идти пешком. Мы его уговариваем, но он остается непреклонным: «Пусть умру у себя дома». А через несколько минут после его ухода загудела тревога, начали палить зенитки.

Это была первая бомбардировка города. Она произвела очень большое впечатление. Во-первых, поколебалась уверенность, что Ленинград хорошо защищен. Во-вторых, мы воочию убедились в том, какая угроза нависла над нами. Люди толпами шли смотреть разрушенные дома.

8 сентября.

Проснулась с ноющим чувством в груди. Тяжелые предчувствия. В городе говорят о листовках, которые сбрасывают немцы. Их находят в больших количествах. Содержание листовок — ультиматум: если до 9 сентября город не будет сдан, начнется массовая бомбежка.

9 сентября.

Вчера, часов в пять вечера, мы стояли на балконе: моя мать, тетка и я. Обсуждали наше безвыходное положение. Вдруг наше внимание привле-

кли светящиеся высоко в небе точки, которые быстро летели прямо на нас. Не успели мы их разглядеть, как загудела тревога. Пришлось спуститься в подвал. Видимо, это были разведчики. Потому что вскоре снова загудели сирены, а затем посыпались бомбы, рушились дома. Но несмотря на весь этот грохот, Юрик спал крепким безмятежным сном. Мне жалко было его будить. Все равно, надежного убежища у нас в доме нет, в подвале не менее опасно, чем в квартире. Однако, грохот все возрастал, налетали все новые эскадрильи, бомбы сыпались непрерывно, зенитки разрывались — настоящее пекло. Вот-вот рухнет наш дом. Не выдержала — схватила спящего Юрика на руки, побежала в подвал.

Там полно народу, особенно детей. Они громко плачут, прижимаются к обезумевшим матерям. При каждом новом взрыве женщины, из которых многие были коммунистками, судорожно крестятся, шепчут молитвы. В эти минуты антирелигиозная пропаганда забыта.

Бомбежке, казалось, не будет конца. Сегодня узнали, что очень пострадал наш район, много разрушений. На нашей короткой улице превратились в руины четыре больших дома, стоявших рядом. Видела и соседние пострадавшие улицы. Некоторые картины, вероятно, до смерти врезались в памяти. Вот дом, разрушенный почти до основания. Но одна стена, оклеенная васильковыми обоями, уцелела. Даже картина на ней висит, не покосив-

шись. От другого бывшего дома над грудой кирпича, цемента, балок остался целый угол одной из верхних квартир. В углу икона, на полу детские игрушки, повсюду разбросанные, будто дети только что играли. Дальше — наполовину засыпанная обломками комната, но у стены кровать со взбитыми подушками и лампа. Случайно уцелевшие домашние вещи, открытые взору прохожих, — словно немые обличители того, что кто-то чужой, безжалостный ворвался в личную жизнь людей и варварски ее изуродовал.

12 сентября.

Пишу через полчаса после нового налета. Не знаю, сколько времени все это продолжалось, но через несколько минут после отбоя узнали, что пострадал огромный госпиталь в нескольких кварталах от нас. Его только вчера открыли, а сегодня перевезли туда раненых. Говорят, что бомбардировщики пикировали именно на это здание. Оно моментально запылало. Большинство раненых погибло, их не успели спасти.

А нам все время говорили, что Ленинград недоступен, что налетов не будет. Вот и недоступен! Противовоздушная оборона оказалась мыльным пузырем. Гарантия безопасности — пустая фраза.

Того же 12 сентября, вечером.

Узнали о самом ужасном следствии сегодняшней бомбежки: погибли Бадаевские склады. Там

были сосредоточены все продовольственные ресурсы города. Не странно ли, что все запасы находились именно в этих, всему городу известных складах? Конечно, немцы на этот счет были прекрасно осведомлены. Уничтожение Бадаевских складов грозит неминуемым голодом. Весь город затянут облаками дыма, пахнет горящей ветчиной, жженным сахаром.

15 сентября.

Гибель Бадаевских складов уже сказывается. Дневная норма хлеба снижена до 250 граммов. Так как, кроме хлеба, почти ничего нет, то это снижение весьма ощутительно. Я еще пытаюсь добывать картошку и овощи по окрестным селам взамен на вещи.

До чего мучительны эти обмены! Вчера ходила целый день. У меня были папиросы, сапоги мужа и дамские чулки. Чувствуешь себя жалкой попрошайкой. Всюду надо уговаривать, буквально умолять. Крестьяне уже завалены прекрасными вещами, они и разговаривать не хотят. За короткий срок вернулся страшный 1918 год. Тогда горожане, как нищие, выпрашивали в деревнях картофель и муку в обмен на ковры, меха, кольца, серьги и прочие ценные вещи. Измученная до последней степени, я, наконец, обменяла весь свой товар на пуд картошки и два литра молока. Не знаю, как долго я смогу заниматься подобной добычей.

20 сентября.

С каждым днем все труднее. Вопрос питания — главный и единственный. Даже ежедневные бомбежки не производят сильного впечатления — к ним привыкли. Все заняты только одной мыслью: где бы достать что-либо съедобное, чтобы не умереть с голоду.

Самый ходкий предмет обмена — спирт. Правда, хорошего спирта уже не достать. Иногда в соседний ларек привозят какую-то отвратительную вонючую жидкость, но весьма крепкую. За этим напитком стоят длиннейшие очереди. Я тоже стараюсь не пропустить ни одного такого счастливого случая, терпеливо стою в бесконечном хвосте. В одной деревне нашла пьяницу-старуху, которая за эту дрянь готова дать изрядное количество картошки. Счастье, что еще водятся такие старухи!

28 сентября.

Пошли упорные слухи, что норму хлеба еще сбавят. Это уже катастрофа. В августе мне удалось купить несколько фунтов настоящего кофе. Теперь это наше спасение: выпьешь утром несколько чашек и почти целый день чувствуешь себя бодрой.

Появился татарин, который раньше скупал старые вещи. Принес четыре плитки шоколада и продал их за деньги. Совершенно невероятное собы-

тие в наши дни, потому что деньги теперь уже ничего не стоят, единственной платой могут быть только вещи. Правда, за эти плитки он взял сто двадцать рублей — месячное жалование уборщицы. Все же считаю покупку большой удачей — смогу давать детям хоть по крошечному кусочку в день.

2 октября 1941 года.

Новая норма хлеба: 125 граммов для служащих и иждивенцев, 250 граммов для рабочих. Наша порция (125 граммов) — небольшой ломтик, как для бутерброда. Теперь мы начали делить хлеб всем домочадцам — каждый хочет распорядиться порцией по-своему. Например, мама старается разделить свой кусочек на три приема. Я съедаю всю порцию сразу утром за кофе: по крайней мере хотя бы в начале дня у меня хватает сил стоять в очередях или доставать что-нибудь путем обмена. Во второй половине дня я уже теряю силы, только лежу.

Сегодня зашла к одной подруге и узнала, что ночью умер ее муж. Когда спросила отчего, она ответила очень просто: умер с голоду. Лег вечером спать, она думала, что он заснул, а утром посмотрела — он мертвый. Неужели всех нас это ожидает?

Никаких изменений на фронте нет. Немцы окружили город. Бомбят каждый день с немецкой

аккуратностью — ровно в семь часов вечера. Вероятно, хотят нас взять измором. Моментально после сигнала тревоги сыпятся бомбы. Наша оборона даже предупредить вовремя не может. Хотя подвал отнюдь не защита, но стадное чувство гонит нас вниз.

6 октября.

Население нашей квартиры все растет. Переехали дети двоюродной сестры Людмилы. Вселились в комнату, занимаемую моей теткой и ее мужем. Размер комнаты — двенадцать квадратных метров. Как они все там будут жить? Просто воздуха не хватит на всех. Теперь об этом, правда, никто и не думает. Люди, как животные — в минуты опасности льнут друг к другу, повторяют: в тесноте, да не в обиде. Людмила тоже, кажется, на днях переезжает к нам. С начала войны она жила отдельно от детей: сама целый день на работе, а дети находились у подруги, которая не служит. Но на-днях в этот дом попала бомба. Дети, к счастью, были в подвале. Потом их еле спасли, потому что подвал был затоплен.

Сегодня явился опять татарин. Принес килограмм конины в обмен на бутылку красного вина.

8 октября.

Буквально на глазах люди звереют. Кто бы подумал, что Ирина Ключева, еще недавно такая

изящная, спокойная, красивая женщина, способна бить своего мужа, которого всегда обожала. И за что? За то, что он все время хочет есть, никогда не может насытиться. Он только и ждет, когда она что-нибудь достанет. Она принесет, он бросается на еду. Конечно, она и сама голодная. А голодному человеку трудно лишиться последнего куска.

У нас в квартире самое удручающее впечатление производит семья Куракиных. Он, вернувшийся из ссылки, изможденный годами тюрьмы, уже начинает опухать, просто страшен. От прежней любви его жены уже ничего не осталось. Она все время раздражена, ссорится. Дети плачут, просят есть и получают только подзатыльники.

Однако Куракины — не исключение: почти все люди стали другими в результате голода, блокады, безвыходного положения.

Меня поражает мой муж. Он выделяется среди людей, потерявших человеческий образ. Выделяется уже тем, что не изменился в своих отношениях к окружающим. Питание военных тоже далеко не блестяще. На завтрак им дают чашку жидкой каши. И он ее не ест, приносит нашему Юре. У него одна забота — поддержать кого только можно. Часто появляется дома по вечерам во время тревог — боится, что я не уйду в подвал. Он прав: я не особенно верю в спасительность нашего подвала, но в таких случаях, для успокоения мужа, забираю мальчиков и со всеми домочадцами тащусь в подвал. В последнее время там приходит-

ся сидеть чуть ли не ежедневно с семи часов вечера до двенадцати ночи. Немцы не делают передышки и затягивают бомбежку на несколько часов. Зато, когда ложишься спать, не так сильно чувствуешь голод. Хуже на рассвете, когда сравнительно тихо: лежишь и не можешь избавиться от мысли о разных вкусных вещах. Часто видишь во сне стол, полный закусок.

Выдержим ли? Главное и единственное желание — не потерять детей, не видеть их гибели.

12 октября.

Кончился картофель. Запасы крупы иссякли раньше. В кооперативах по карточкам получить ничего нельзя. Но очереди колоссальные, когда вдруг появится что-нибудь съедобное, даже мало стоящее. Сильные выталкивают слабых. Женщинам почти невозможно попасть в двери магазинов. Иногда приходится занимать очередь в четыре часа утра. Муж предложил устроить пропуск в военную столовую, где можно получать в виде приварка то, что полагается по карточкам. Для нашей семьи это выходит восемь тарелок супа и четыре тарелки каши на десять дней. Конечно, это лучше, чем ничего.

18 октября.

Вот уже неделю имею добавочное занятие — ходить за едой. Трудно рассчитать так, чтобы та-

лонов хватило на декаду. Дома суп приходится разбавлять водой. Беру два бидона и отправляюсь в далекое путешествие со стоянием в очереди по несколько часов. Теперь в деревню не поедешь. Эти экскурсии утратили смысл — крестьяне прекратили обмен.

26 октября.

Сегодня день рождения Димы. Людмила, работающая в какой-то столовой или буфете, принесла ему в подарок немного дичи. Вот это было пиршество!

28 октября.

Умер муж Ирины Ключевой. Она даже не огорчена.

1 ноября 1941 года.

Так ежедневно — около семи часов вечера воют сирены. Мама спешит пообедать к шести часам. Потом собирает самые необходимые вещи и сидит в пальто, наготове. Уверяет, что это ей напоминает сборы к пасхальной заутрене. С первым сигналом тревоги перебираемся вниз. Соседи перетаскивают с креслом больного дядюшку, со стоном плетутся старухи. Особенно стонет наша бывшая домовладелица, которая с нетерпением ждет немцев. Потом сыпятся бомбы, разрушается прелестный, лучший город страны.

3 ноября.

Сломалась моя пишущая машинка, а починить нигде — никто этим больше не занимается. Мужчины стали нетрудоспособными, многие уже слегли. Давно не поднимается с постели наш дворник, дворы вообще перестали приводить в порядок. Повсюду сплошная мерзость запустения.

Почти каждый день сообщают, что умер тот или иной знакомый. В нашем доме уже умерло несколько человек.

Мы ждем выдачи каких-либо продуктов к ноябрьским праздникам. Об этом много говорят. Надеются на масло, вино, сладости.

6 ноября.

Зоя Михайловна встала сегодня в четыре часа утра. С помощью сына и энергичной невестки ворвалась в кооператив. Получила себе и нам масло. Просто невероятное событие! Не дает покоя желание съесть все сразу, но надо как-то растянуть.

Тарновский с 20 октября устроил фиктивно моего Диму к себе в мастерскую. Хотя мастерская находится еще в периоде организации, но Дима уже считается рабочим, и получает вместо 125 граммов хлеба 250. Это очень важно. Прежде всего важно для Димы: он всегда обладал завидным аппетитом, и когда перешли на голодный паек, то быстро сдал. Меня приводит в отчаяние его полнейшая

апатия. Он перестал чем-либо интересоваться, читать, даже разговаривать. Трудно поверить — даже к бомбежкам он относится равнодушно. Единственное, что может вывести его из равновесия, это — еда. Целый день он голоден, шарит по шкафам, ищет съедобное. Ничего не найдя, начинает жевать кофейную гущу или эту ужасную дуранду (жмыхи), которую раньше ели только коровы.

Дуранду теперь ест весь Ленинград. За нее отдают что угодно: чулки, обувь, отрезки материи. Отнесешь на рынок какую-либо ценную вещь и получаешь взамен кусок этого вещества, такого жесткого, что не только откусить, но и топором не отрубить. Начинаешь строгать, как кусок дерева. Получается что-то вроде опилок. И вот из них пекут лепешки. На вкус они ужасны, а после того, как съешь, начинается изжога.

Хлеб выдается тоже малосъедобный: муки в нем самый минимальный процент, а больше жмыхов и почему-то целлулоид и еще какая-то неизвестная, невообразимая смесь. В результате такого состава, хлеб сырой и тяжелый. И все-таки люди готовы из-за него перегрызть друг другу горло. Утром, по дороге из булочной, тщательно прячешь его: было не мало случаев, когда на улице хлеб отнимали.

7 ноября.

Как мы и предполагали, в ноябрьские праздники немцы бомбили интенсивнее и беспощаднее, чем

обычно. Особенно отличились они вчера вечером: налетели тучи самолетов, воздух гудел от множества машин. В сотый и тысячный раз задаешь самой же себе вопрос: где же наша противовоздушная оборона? Почему не видно советских истребителей? Немцы летают, как дома, а наши зенитки палят впустую, только усиливают шум.

Сегодня с помощью Тарновской старались вернуть к жизни нашего Диму. Зоя Михайловна энергична и не теряет своего оптимизма. Она твердо верит, что война скоро кончится, что Ленинград все же будет взят. Надо потерпеть еще некоторое время. Она старалась все это внушить Диме, даже сердилась и кричала на него. Потом начала умолять подтянуться ради меня, более бодро относиться ко всем лишениям. Как могла, я поддерживала ее.

Теперь умирают так просто: сначала перестают интересоваться чем бы то ни было, потом ложатся в постель и больше не встают. Я особенно боюсь этой апатии у Димы. Его нельзя узнать. Еще в конце августа и в сентябре он носился по всему городу, выискивал продукты, интересовался военными сводками, встречался с мальчишками-товарищами. Теперь он — форменный старик, вечно мерзнущий. Целыми днями он стоит в ватнике у печки, бледный, со страшной синевой под глазами. Если так будет продолжаться, он погибнет. Делаю все возможное, чтобы его лучше кормить, но всего этого слишком мало. Вот наш жилец Юра Тарнов-

ский, например, ходит каждый день в одну столовую, где съедает по шесть-семь тарелок дрожжевого супа, который можно получить без карточек. Трудно себе представить это «лакомое» блюдо голодного Ленинграда: дрожжи и вода. После еды люди распухают, а в смысле питательности эта еда ничего, нуль калорийности. Но я хотела бы, чтобы мой Дима, по примеру Тарновского, охотился за этим супом, — может быть, хоть это выводило бы его из состояния страшного безразличия.

12 ноября.

Заходила к одной знакомой и она меня угощала новым кулинарным изобретением — желе из кожаных ремней. Рецепт изготовления таков: вывариваются ремни из свиной кожи и приготавливается нечто вроде холодца. Эту гадость описать невозможно! Цвет желтоватый, запах отвратительный. При всем моем голоде я не могла проглотить даже одной ложки, давилась. Говорят, что эта масса в больших количествах продается на рынке. Но я на рынок уже не хожу: менять больше нечего. То, что я могу предложить, не интересует покупателей.

А рынки завалены прекрасными вещами: материи высокого качества, отрезки на костюмы и пальто, дорогие платья, меха. Только за подобные вещи можно получить хлеб и постное масло.

Уже не по слухам, а из достоверных источников, то есть по сведениям из районов милиции, известно, что на рынке появилось много колбасы, холодца и тому подобного, изготовленного из человеческого мяса. Рассудок допускает даже эту страшную возможность: люди дошли до предела и способны на все. Муж меня уже предупредил, чтобы я не пускала Юрочку на прогулки далеко от дома и даже с няней. Потому что первыми начали исчезать дети.

15 ноября.

Смерть хозяйничает в городе. Люди умирают и умирают. Сегодня, когда я проходила по улице, передо мной шел человек. Он еле передвигал ноги. Обгоняя его, я невольно обратила внимание на жуткое синее лицо. Подумала про себя: наверное скоро умрет. Тут действительно можно было сказать, что на лице человека лежала печать смерти. Через несколько шагов я обернулась, остановилась, следила за ним. Он опустился на тумбу, глаза закатились, потом он медленно стал сползать на землю. Когда я подошла к нему, он уже был мертв.

Люди от голода настолько ослабели, что не сопротивляются смерти. Умирают так, как будто засыпают. А окружающие, полуживые люди, не обращают на них никакого внимания. Смерть стала явлением, наблюдаемым на каждом шагу. К ней

привыкли, появилось полное равнодушие — ведь не сегодня-завтра такая участь ожидает каждого. Когда утром выходишь из дому, натыкаешься на трупы, лежащие в подворотне, на улице. Трупы долго лежат, так как некому их убирать.

20 ноября.

Муж договорился с начальником госпиталя на Петроградской стороне, чтобы Диму приняли курьером. Дима будет получать там завтрак, состоящий из мясного супа. Ах, как это важно! Может быть, работа спасет Диму. Будет отвлекать его. Главное же, это то, что он будет получать добавочную еду, — я больше не имею возможности дать ему что-либо после завтрака. Наше «меню» сошло на утренний кофе с порцией хлеба, выдаваемого на день. Потом, в шесть часов вечера, мы съедаем суп, который я приношу из столовой.

Врачи уверяют, что, если брать два раза в неделю ванну и выпивать в день до трех стаканов жидкости, то можно прожить несколько месяцев. Я очень сомневаюсь в этом. Может быть, такой рецепт имеет смысл, если все время лежать. Но приходится без конца бегать, чтобы добыть то минимальное, что поддерживает жизнь, иначе не выдержишь. За одним только хлебом стоишь в очереди часами. Часто нужно обегать несколько булочных, так как бывают перебои. Водопроводные трубы лопаются и за водой приходится ходить на Неву. Все это требует большого напряжения сил.

А с дровами какая история! Ведь некому помочь, когда доставят поленья. Все эти заботы — пилить, рубить, переносить в сарай и в квартиру, — все это лежит на женщинах. У нас эту тяжелую работу выполняют двое: няня, которая еще держится на ногах, и маленький Юрик, ослабевший менее других. Вот они-то вдвоем пилят, колят и таскают тяжелые, сырые, промерзшие бревна. Юрик вместе с няней даже убирает двор, так как дворник уже давно слег и, повидимому, безнадежно. Таким образом пятилетний Юрик работает, как взрослый.

24 ноября.

Дима окончательно отказался ходить в подвал во время налетов. Он возвращается с работы настолько усталым, что не может двигаться. Сразу после еды ложится в постель и просит, чтобы его не тревожить. Что-то с его работой не клеется, получается не так, как предполагалось: в госпиталь приходится ходить очень далеко, его посылают как курьера в разные концы города, а трамваи часто не ходят. Наконец, обходят его и с обедом: заведующая буфетом всячески старается не выдать положенной тарелки супа. Только тогда, когда он приходит вместе с сыном начальника госпиталя, то получает все, вплоть до котлеты. Недаром сын этого начальника такой краснощекий и упитанный, даже не верится, что он ленинградский житель.

26 ноября.

Неожиданно в дверь постучал совершенно незнакомый красноармеец и дал ведро кислой капусты, которую нес со всеми предосторожностями. Конечно, это событие, но есть капусту придется без хлеба и без картошки — ни того, ни другого нет.

Смертность растет. Говорят, что ежедневно умирает до трех тысяч человек. Думаю, что это не преувеличение — город буквально завален трупами. Родственники или знакомые везут хоронить покойников на маленьких салазках, связывая по два, даже по три трупа. Можно встретить порой и большие сани, на которых покойники уложены, как дрова, и прикрыты сверху парусиной. Из-под парусины торчат голые синие ноги, убеждаетесь, что это совсем не дрова.

Смерть видишь каждый день так близко, что перестаешь реагировать на нее. Исчезло чувство жалости. Все стало безразличным. Главное же, — непроходящее сознание того, что вряд ли мы избежим общей участи, рано или поздно и нас вывезут таким же способом и свалят в общую яму. Хоронить каждого покойника отдельно уже нет никакой возможности — гробов не хватает. Если родственники хотят хоронить по всем правилам, то должны ждать, когда освободится гроб, то есть когда донесут до могилы предыдущего умершего, вынут его из гроба, засыпят землей, а гроб передадут в очередь.

29 ноября.

Нежданно-негадано появилась моя бывшая домработница Маруся. Пришла с караваем хлеба и объемистым кульком пшена. Марусю не узнать. Совсем не та босоногая неряха, какой я ее знала. На ней беличий жакет, нарядное шелковое платье, дорогой пуховый платок. А ко всему этому — цветущий вид. Словно она приехала с курорта. Никак не похожа на обитательницу голодного, окруженного врагами города. Спрашиваю: откуда? Оказывается, дело обстоит довольно просто: она работает на каком-то продовольственном складе, заведующий складом в нее влюблен. Когда уходящих с работы обыскивают, то Марусю осматривают только для виду и она выносит под своей меховой кофточкой по несколько килограммов масла, кульки с крупой и рисом, консервы. Однажды, говорит, ей удалось даже протащить несколько кур. Все это она приносит домой, а вечером начальство приходит к ней ужинать и развлекаться. Сначала Маруся жила в общежитии, но ее бригадирша, учтя все выгоды совместного житья, пригласила Марусю в свою квартиру. Теперь эта бригадирша пользуется богатой Марусиной жатвой, прикармливает своих родственников и знакомых. Как видно, это очень оборотистая особа: она полностью завладела добродушной и глупой Марусей и в виде особой милости порой обменивает продукты на различные вещи. Так улучшился гардероб Маруси,

которая в восторге от этих обменов и мало интересуется тем, куда идет ее богатая добыча. Все это в очень наивной форме Маруся рассказывает мне, добавляя, что теперь она постарается, чтобы мои дети не голодали.

Сейчас, когда я пишу это, то думаю о том, что творится в нашем несчастном, обреченном городе: умирают тысячи людей ежедневно, а какие-то отдельные люди в этих условиях имеют богатейшую выгоду. Правда, во время посещения Маруси я об этом не думала. Больше того, я умоляла ее не забывать нас, предложила ей любые вещи, какие могут ее заинтересовать.

1 декабря 1941 года.

Наш дворник совсем плох. Сегодня отнесла ему тарелку каши, которая сварена из пшена, полученного от Маруси. Он не может нахвалиться Юрой. Так и говорит: «Могу спокойно болеть, за меня Юрий Скрябин все сделает».

6 декабря.

Ночью пришлось пережить нечто такое, чего до сих пор не было. Я легла спать около десяти вечера. Выключила радио, как это обычно делаю, чтобы не слышать гудков тревоги, потому что в последнее время чувствую, как силы начинают по-

кидать меня. Я не в состоянии проводить вечера и часть ночи на стуле в подвале, качаясь от сна. Из-за этого у нас уже было несколько неприятных разговоров с двоюродной сестрой Людмилой, которая живет у нас, спит в соседней комнате. Она боится проспать тревогу. При первых сигналах она мчится в подвал и тащит своих детей. Вчера она не заметила моего маневра и улеглась спать. В одиннадцать я проснулась от страшного грома и треска. Решила, что дом рушится, и мы все гибнем под развалинами. Порыв ветра сорвал занавески. Со стен посыпались картины и портреты. На улице были слышны чьи-то крики о помощи. Я вскочила с постели, схватила спящего Юрика, готова была бежать с ним куда угодно, не сознавая даже куда можно бежать. Очутилась в коридоре. Там полное смятение. Люди бегают, кричат, плачут — ничего нельзя понять. Через несколько минут выяснилось, что огромная бомба попала в соседний дом, во всем квартале выбиты окна, вырваны рамы и двери. Много убитых и раненых. Все трудоспособные люди из нашего дома побежали оказать помощь пострадавшим. У нас внизу, в подвале, было оборудовано нечто вроде пункта первой помощи. Вносили стонущих раненых людей. Были собраны дети со всего квартала. Они кричали, плакали. А сигналы тревоги все продолжались, бомбы сыпались без конца. Только в два часа ночи мы вернулись в свою квартиру. Она стала неузнаваемой. По всему фасаду были выбиты окна, пол

засыпан осколками стекла, холод такой же, как на улице, спать негде. Еле устроились на кухне и в коридоре. До утра не сомкнули глаз. Ко всем невзгодам прибавилась еще одна — полная тьма. О том, чтобы вставить стекла не могло быть и речи: уже давно Ленинград забит фанерой. А мороз жестокий, дров нет. Как сможем мы обогреть свою квартиру? Ведь единственное, что у нас осталось, — это уютные комнаты. Теперь лишились и этого угла. А что еще суждено пережить?

7 декабря.

До чего больно смотреть на стариков и старушек, живущих в нашей квартире. Бывшая домовладелица, Анастасия Владимировна, которая критически улыбалась в первую ночь войны, теперь медленно умирает. Хотя она все же полна надежды, что переживет эти страшные дни. Больше всего она боится, что нам удастся тем или иным путем эвакуироваться, а она останется одна. Ведь пока мы здесь, она получает свою тарелку супа. Я приношу ей и микроскопическую порцию хлеба, за которым стою в очереди. Таким образом старуха может существовать. Если мы уедем, — ей конец. Несмотря на все свое, казалось бы, обреченное положение, она все же не хочет умирать. Она ждет конца войны, то есть победы Германии.

Есть у нас и другая старушка — эстонка Каролина. Когда-то она служила в качестве экономки

у одного русского князя. Теперь она получает пожизненную пенсию от бывшего управляющего этой бывшей княжеской семьи. Пенсия давала ей возможность даже безбедно существовать на протяжении всех послереволюционных лет. Кроме этой пенсии, она получала еще советскую — четырнадцать рублей в месяц. Этих рублей ей хватало на уплату комнаты и электричества. Но, благодаря заграничной помощи, у старушки было достаточно денег. Например, узнав, что на рынке можно достать хлеб «по-черному» (600 рублей килограмм), она попросила, чтобы ей достать его. Правда, после того как я исполнила ее просьбу, произошла маленькая трагедия: хлеб был нарезан ломтиками и положен на плиту, чтобы получились гренки, а девчонка соседки несколько ломтиков стащила. Горе старухи трудно передать. Целый день она лежит на кухонном столе (в ее комнате тоже выбиты все окна), непрерывно стонет, все время говорит о пропавших ломтиках хлеба. Вероятно, если бы у нее умер самый близкий человек, она страдала бы не так сильно.

10 декабря.

На нашей кухне творится нечто непостижимое. Четыре хозяйки на одной плите стараются что-то готовить: варят жмыхи, пекут из них блинчики, разогревают суп, принесенный из столовых, спорят, все время стонут и твердят о еде, тут же де-

ти, которых невозможно выпроводить из теплой кухни. Особенное общее раздражение вызывает старшая дочь Куракиной, которая и раньше не была на руку чиста, а теперь тем паче — все время норовит стащить что-либо у соседей. Хозяйки боятся отойти на шаг от своих жалких приварков. Электричество потухло. В кухне полутьма, в которой трудно уследить за действиями «хищников» вроде Куракиной.

15 декабря.

Дима взял больничный лист. Он уже не в силах ходить на свою работу. Вчера муж случайно встретил его на улице. Мальчик падал в сугробы, с трудом подымался и падал опять. Хорошо, что он встретил отца, который взял его под руку и дотащил до дому. А то, пожалуй, один и не добрался бы, умер бы, как умирают тысячи ежедневно на улицах Ленинграда. Я тоже больше всего боюсь присесть на улице, хотя буквально падаю от усталости.

Уговорила Диму пойти в больницу. Он вернулся в ужасном состоянии. Больница полна мертвецов. Трупы лежат на полу, на лестницах, во всех проходах. Дима не мог переступить через них, поспешил вернуться домой.

16 декабря.

Дима слег окончательно. Лежит и молчит, уткнувшись головой в подушку. Теперь он не встает

для поисков какой-нибудь еды в шкафах и буфете. Может быть, еще и потому, что уверен в полном отсутствии съедобного. А может быть, потому что больше нет сил. Я с ужасом смотрю на него. Боюсь, что он погибнет. Как же ему вынести голод, — ведь он такой высокий, худой, невероятно жалкий. Мальчика не узнать. Еще недавно он был жизнерадостным, бегал в школу, прекрасно учился, всем интересовался . . .

17 декабря.

Прекратились тревоги и налеты. Говорят, из-за холодов. Однако настроение не улучшается. Голод и смертность растут с каждым днем.

Вчера вечером Людмила вернулась очень взволнованная. Было уже темно, когда она возвращалась со службы. Она торопилась. И вдруг к ней бросилась женщина, повисла на ее руке. Людмила сначала не могла понять, в чем дело, но женщина заплетающимся языком объяснила, что от страшной слабости она дальше не может идти и просит ей помочь. А Людмила и сама еле тянет ноги. Сказала, что у нее самой едва хватает сил добраться домой. А женщина не отставала, уцепилась, как клещ. Людмила старалась от нее освободиться и ей это не удавалось. Женщина, уцепившись за Людмилу, тянула в сторону, противоположную от нашей квартиры. В конце концов Людмиле удалось вырваться, спотыкаясь в сугробах

она бросилась бежать. Когда я открыла ей дверь, на нее было страшно смотреть: бледная, с глазами полными ужаса, еле переводящая дыхание. Рассказывая происшедшее с ней, она все время повторяла: «Она умрет, она сегодня же умрет». Я догадалась о двух противоречивых чувствах, которые боролись в Людмиле: радость, что ей удалось вырваться, что она жива и тягостные мысли о женщине, которую ей пришлось бросить на произвол судьбы и даже на верную смерть в эту холодную декабрьскую ночь.

26 декабря.

Умерла наша соседка, старушка Каролина. Не помогли ей сбережения, которые откладывала она из княжеской пенсии. Перед смертью мы общими усилиями перетащили ее из кухни, где она лежала на столе, устроили в ее комнате с окнами, забитыми фанерой. Укутанная платками, шальями и одеялами старушка пролежала еще сутки. Непрерывно бормотала какие-то эстонские молитвы. А может быть, проклятия. Мне становилось страшно, когда я заходила ее проведать. Нужно было сделать невероятное усилие над собой, чтобы войти в эту мрачную комнату, подойти к кровати, проверить живет ли еще это существо, уже потерявшее человеческий облик.

Вчера вечером мне удалось по карточкам получить кильки. Так как у меня находилась карточ-

ка Каролины, то я решила попробовать покормить ее. Трудно представить, с какой жадностью она, уже полутруп, поглощала еду. Даже жутко было смотреть, как она запихивала в рот эти кильки. А через час она и скончалась.

28 декабря.

Уже два дня мертвая Каролина лежит на своей постели, — хоронить некому. Как ни старались мы вызвать ее родственников, они не приходят. Милиция и домоуправление не успевают убирать покойников. Что же будет дальше с нашим городом, население которого доходит до семи миллионов.

Люди стоят в очередях угрюмо и молча. Не слышно даже обычной перебранки. Все ослабели, отупели, устали настолько, что стали совершенно равнодушными ко всему, что может с ними случиться.

29 декабря.

Сегодня на рассвете меня разбудил вопль соседки Куракиной: «Скорей вставайте, бегите за хлебом — прибавка!»

Об этой долгожданной прибавке уже много говорили, но никто не верил. Оказывается, все же прибавили: иждивенцы будут получать двести граммов, рабочие — триста пятьдесят. Но теперь это уже очень многих спасти не может.

1 января 1942 года.

Вчера мы встретили Новый Год. Трудно представить себе более мрачную встречу. От предпраздничной выдачи у нас ничего не осталось. Да и сама выдача была крайне бедной. Нам выдали по бутылке красного вина и маленькому кульку конфет. Решили не ждать традиционных двенадцати часов, — легли спать в десять. Спим мы в комнатах с выбитыми окнами. На ночь не раздеваемся, а наоборот, напяливаем на себя всё, что только можно. Я, например, сплю в меховой куртке, в большом платке и в валенках, а сверху еще укрываюсь одеялами. Рядом кроватка Юрочки. У него виден только носик, прислушиваюсь к его дыханию. Проверяю, жив ли он.

Около двенадцати часов проснулась от какого-то шума. Увидела мужа; он сидел за столом в шинели перед одиноко горящей свечкой, сгорбленный, усталый, глядел в одну точку. Тут сердце могло разорваться от жалости к нему, и к нам, и ко всем другим, попавшим в страшную мышеловку. Перед мужем на столе лежали три черных солдатских сухаря. Это — принесенное им новогоднее угощение. Захотел этот вечер провести в семье. Ведь существует же поверие: с кем встретишь Новый Год, с тем на весь год и останешься. Эту ночь напролет я проплакала. Обидно и нелепо казалось умереть от голода, а надежд на благополучный исход уже не было. Силы покидают нас с каждым днем.

3 января.

По пути в столовую зашла сегодня к моей хорошей знакомой и одновременно портнихе, Надежде Ивановне. Несколько дней тому назад она была у нас и, видя состояние Димы, пыталась всячески ободрить его, сулила близкие хорошие перемены: «Подтянись, Дима, скоро будет лучше, хлеба еще прибавят, откроется дорога, слышали, как бьются за Тихвин. Тогда из Ленинграда будет путь открыт».

Дима тупо молчал. Он больше не верит в это. Но бодрый тон и уверенность Надежды Ивановны на меня подействовали — решила сегодня зайти к ней, чтобы немного поднять свое настроение. Это очень важно — услышать ободряющее слово. Когда я позвонила, мне открыла дверь старшая сестра. Надежды. Она молча ввела меня в столовую и показалась мне как будто ненормальной. На столе стояли два гроба. В одном лежала моя милая и такая бодрая Надежда Ивановна, а в другом — ее младшая сестра, которую я тоже всего лишь несколько дней тому назад видела здоровой.

6 января.

Сегодня навестила наших больших друзей Ключевых. Как только увидела отца своей подруги Ирины, сердце сжалось от недоброго предчувствия: по всему видно, что он ближайший кандидат на

тот свет. Долго не продержится. Так постепенно уходят все, с кем мы провели нашу юность, с кем связаны лучшие воспоминания многих лет. И вот я вижу этого Николая Георгиевича, у которого нет больше сил двигаться, нет возможности что-либо делать. А жена его злится, заставляет куда-то идти, добывать дрова. Эта картина была такой тяжелой, что я поспешила уйти. Узнала, что на-днях умерла сестра Николая Георгиевича. Нам об этом никто не сообщил. Впрочем, не было в этом смысла, все равно на кладбище никто не пойдет: нет сил, а кроме того стоят лютые морозы.

7 января.

Примерно час тому назад заходил приятель мужа, Петр Яковлевич Иванов. Этот, всегда веселый и любезный молодой человек, сегодня поразил меня своим видом и странными вопросами. Между прочим, он умолял меня сказать ему, существует ли еще большой серый кот, который принадлежал одной артистке. Он высказал надежду, что этот кот еще не съеден, так как хозяйка его обожает. Мне пришлось его разочаровать: ни одного живого существа, кроме людей, еле передвигающих ноги, в нашем доме не осталось. Все животные съедены либо обитателями нашего дома, либо энергичными соседями. И начало этому положил сын именно этой артистки. Он особенно изощрялся в охоте на птиц, переловил каких можно было, а потом перешел к собакам и кошкам. Я уверена, что он не по-

миловал любимца матери, тем более что это был очень большой и жирный кот.

Теперь в Ленинграде нельзя встретить ни кошки, ни собаки. Мы, надо сказать, до сих пор не лакомились этими животными. Не потому, что не хотели, а потому что, не имели возможности их поймать.

Вспомнила, что вчера видела Федора Михайловича Навроцкого — «остряка Федю», как мы его называли. Теперь он ходит с палкой, имеет вид древнего старика, а ему, пожалуй, еще нет сорока лет. Рассказал, что по просьбе Ирины Ключевой нашел кошку и отнес им. Трудно представить себе, что Ирина, которая совсем недавно посмеивалась над страхами наступающего голода и уверяла, что в Ленинграде всегда найдутся люди, которые помогут и накормят, — теперь позарилась на кошку. Конечно, Ирина в свое время не принимала во внимание то, что голодать могут все поголовно. Исключения представляют только лишь очень большие начальники и те случайные лица, которые работают на различных складах и распределителях.

Оказывается, Федя сохранил остаток своих сил лишь потому, что знакомый татарин продает ему хлеб по шестьсот рублей за фунт. «Черные цены» растут.

8 января.

Прошло почти две недели со дня смерти Каролины, а она все еще лежит на своей кровати — ее

никто не хоронит. Благодаря свирепым морозам и тому, что все окна выбиты, труп Каролины не разлагается. Однако до каких пор это может продолжаться?

Диму, наконец, удалось устроить в госпиталь. Муж приложил все старания и с большим трудом добился того, что Дима помещен в лазарете для раненых бойцов. Так как теперь средств передвижения уже не существует, то мне пришлось вести мальчика на Петроградскую сторону под руку. Эта дорога была сплошным кошмаром: Дима еле передвигал своими опухшими ногами, всей тяжестью наваливался на меня. Он настолько плохо выглядит, что даже привыкшие уже ко всему ленинградцы постоянно на нас оглядывались. Лицо у Димы сине-черное, опухшее, глаза неживые. Шли мы целых три часа. Конечно, в госпитале было еще много всяких осложнений. Свободной койки не нашлось, пришлось положить Диму в коридоре. Кроме того понадобилось заполнить множество всевозможных анкет. Очень опасаясь, что Диме не поправить своего здоровья. Зашла в комнату заведующего госпиталем Ешкалева. С ним вместе живет сын, здоровый цветущий мальчишка, который, несмотря на поздний час, был еще в постели и уплетал бутерброды с ветчиной и сыром. Не поверила своим глазам, но это было так. Ведь мы уже забыли даже, как выглядят сыр и ветчина. Его отец, смутившись моим пораженным видом, сочинил историю о том, как мальчик чуть не по-

гиб — потеряв свою хлебную карточку и не желая признаться в этом, он будто бы почти ничего не ел на протяжении двух недель. Я подумала о несчастных раненых и больных, лежащих в коридорах госпиталя, о людях, у которых этот начальник, пользуясь своим положением, отбирает питание для своего здорового сына.

А ведь это делается кругом. Тот, кто стоит у власти или может распоряжаться продовольствием, во-всю пользуется своим привилегированным положением. Им-то нет никакого дела до того, что люди гибнут как мухи. И сама-то я хороша: выражаю сочувствие его сыну, потому что от отца-начальника теперь зависит жизнь Димы.

13 января.

Наконец-то, похоронили Каролину. Наша энергичная управляющая домами разыскала какую-то племянницу покойной, подействовала на нее соответствующим образом и эта племянница явилась уже с гробом и увезла старушку. Обитатели нашей квартиры обрадовались, — покойник вывезен.

Сегодня, когда шла из столовой, поразила тем, что буквально на каждом шагу встречала детские салазки с покойниками. Этих несчастных жертв голода везут на кладбище и на больших санях, где помещается несколько трупов. Из-под каких-то холстин торчат голые ноги. Покойникам обувь не нужна. Подумать только, что есть люди,

которые извлекают выгоду даже в эти страшные дни. Ведь с самого начала бомбежек появились мастера, которые занимаются воровством в разбитых домах и раздеванием трупов. Они сыты и процветают. Кстати, такие элементы имеются даже в нашем доме. В прошлом это была бедная семья. Но с первых дней войны глава этой семьи поступил на работу по раскопкам. И теперь их не узнать: одеты в шелка, меха и каждый день сыты.

15 января.

Знакомые устроили меня в одну швейную мастерскую, это дает первую категорию в смысле пайка. Правда, мастерская почти не работает, нет света и топлива, но карточки все же выдают. Таким образом я получаю немного больше хлеба, а теперь каждая крошка его на счету.

16 января.

Сегодня была в амбулатории, пришла в ужас от того, что там увидела. Амбулатория полна рабочими и служащими, которые так обессилели, что продолжать работу не могут, но, боясь звания прогульщиков, приходят за больничным бюллетенем. Придя в амбулаторию, многие из них умирают в очереди к врачам. В полном смысле слова пол в этом учреждении устлан мертвыми или умирающими. Их не успевают забирать.

18 января.

Никогда не думала, что посещения Димы в госпитале потребуют столько усилий. Это просто подвиг. Простояв несколько часов в очередях и принеся обед, я должна сразу же отправиться в госпиталь. Иной раз кажется, что силы оставляют меня совершенно. Да и Дима меня мало радует. Он не поправляется. Бледный и опухший, он лежит все еще в коридоре. Никакого интереса к жизни не проявляет. Сегодня он с безразличным видом рассказал мне о том, что в госпиталь вчера привезли двух молодых солдат, больных дистрофией, и эти мальчики через несколько часов скончались. Значит, армия тоже голодает.

Дима весь покрыт нарывами. Один из нарывов вскрыли, но рана не затягивается — организм невероятно ослаб. В госпитале почти не делают операций, — ткани не срастаются. Еще хорошо, что в госпитале, где лежит Дима, нет эпидемии дизентерии. В других лазаретах от этой болезни лечатся страдают почти поголовно.

19 января.

Знающие люди говорят, что воздушные налеты прекратились потому, что от страшных морозов горючее в самолетах застывает. Между тем наши посты, несмотря на полное изнеможение лю-

дей, продолжают существовать. Отчетливо вспоминается недавнее время, когда чуть ли не поголовно всех мобилизовали на борьбу с «зажигалками». Люди стояли на крышах и должны были голыми руками хватать зажигательные бомбы, бросать их в ящик с песком. А песок от тысячеградусного жара кипел, как каша. Теперь «зажигалки» не сыпятся, но дежурные сидят в ожидании сигнала. Седовласые старики, худые, как щепки, напялившие на себя все, что можно, закутанные в платки, концы которых завязаны за спиной, как у детей, — сидят внизу в коридоре: а вдруг тревога.

Пришло на память, как на даче в Тярлево мой Юрик увлекся военщиной. Достал где-то красноармейскую пилотку и щеголял в ней, хотя она закрывала ему уши. Война выводит на первую линию общества военных — это закон. Впрочем, за это полугодие советская армия как будто не оправдала тех надежд, какие на нее возлагались.

20 января.

Была у Димы, застала его за обедом. Оказывается, в этом госпитале он все-таки кое-что получает. Утром — жидкий пшенный суп и 15 граммов сала. На день выдается 300 граммов хлеба. В двенадцать часов — опять суп, а порой и второе блюдо вроде жидкой каши с какой-то подливкой. И вечером дают тарелку какой-то жидкости. Все же

едят три раза на день. Конечно, еда малопитательная, поправиться от нее невозможно. Вид у Димы не улучшается. Прежняя апатия. Страшусь мысли, что вернуть его к жизни не удастся.

Возвращаясь из госпиталя, брела по парку Петроградской стороны. На какие-то минуты оторвалась от действительности. Вспомнила прошлое. Конечно, трудности нашей жизни в Советском Союзе были чрезмерны. Постоянная борьба за кусок хлеба. А хуже всего — гнет, страх. Постоянный страх за себя и за близких. Однако, все же бывали хорошие, благостные минуты. Мне думается, что тут настройщиком был главным образом родной и любимый город. Вспоминаю, сколько раз я восхищалась им. Особенно в конце апреля или в начале мая, когда под закатным солнцем сияли купола Исаакия, шпиль Петропавловской крепости, голубой купол мечети. Любила я свой город и зимой: на невском льду — снежный покров, сады и парки сияют инеем, морозный воздух пахнет яблоком антоновкой. Сегодня тоже чудесный зимний вечер. Та же Нева, те же парки. Только сердце сжимается от мучительной тоски, от сознания полной безвыходности нашего положения, от неверия ничему и никому.

Грустно добрела до дому. Темнота, холод, умирающая коптилка освещает кухню. А вокруг этого слабого огонька — все обитатели квартиры — голодные, злые, вот-вот вспыхнет ссора. Мало человеческого осталось в людях.

24 января.

Новая беда — пожары. Каждый день что-нибудь пылает. Сегодня, когда шла к Диме, видела толпу вокруг дома, который сильно и быстро разгорался на моих глазах. Людей стояло много, но никто и не пытался тушить. Казалось, они любовались зрелищем. Через три часа, когда возвращалась, вместо дома была груда дымящихся балок. Иначе и не могло быть. Чем и как тушить? Воды нет, пожарные команды не в состоянии справиться с пожарами, у жителей нет сил и желания бороться с огнем. Громадные дома пылают, сгорают до тла. Говорят, что пожары возникают от печурок, трубы которых выходят прямо в окна. Конечно, устройство примитивное, немудрено, что все доступное огню, воспламеняется.

Нас регулярно обстреливает дальнобойная немецкая артиллерия. Снаряды разрушают дома и целые кварталы. Идешь по улице и непрерывно слышишь нарастающий свист. Выработалась привычка: жмешься к той стороне улицы, откуда идет обстрел. А вчера пришлось идти по Фонтанке, когда стреляли вдоль реки. Как по одной, так и по другой стороне улицы опасно. Снаряды летели над головой, разрывались то тут, то там. Казалось, что уже ко всему привыкли, а все же под обстрелом трудно сохранить спокойствие.

Никогда не допускала мысли, что могу быть такой равнодушной к смерти. Я любила, обожала

жизнь, радовалась малейшему ее проявлению. Знакомые считали меня оптимисткой. А сегодня сомневаюсь в том, что мы останемся в живых. Но никакого отчаяния от этой возможной гибели не испытываю.

Опять пошли разговоры об эвакуации. Многие пробираются пешком по Ладожскому озеру. Чаще всего на это решаются подростки, стремящиеся спастись. Многие погибают на озере — изнуренные организмы не выдерживают страшного холода.

25 января.

Участились перебои в выдаче хлеба. Очереди стоят чуть ли не с четырех часов утра, а к девяти хлеба нет. Сегодня мне пришлось простоять полсуток — с шести утра до шести вечера — и только тогда я получила паек. Вместе со мной этот день простояла Варя, домработница моей тети. Когда мы вышли из булочной, Варя попросила разрешения опереться на мою руку, сама уже не могла идти. Я довела ее до дому. Она легла на кухне, на корзине, где теплее.

26 января.

Умерла Варя. Там же, на кухне, на корзине, где приткнулась вчера вечером. Как и когда это произошло, никто не знает. Вышли утром на кухню, поразились, что она так долго спит. Стали будить,

а она уже холодная. Мимо корзины ходят дети, задевают труп. Решили перетащить Варю в комнату Каролины, на ту кровать, где две недели пролежал труп старухи. Переносили Варю все жильцы сообща, потому что все обессилели. Моя мать шла впереди с огарком, освещала коридор, остальные несли покойницу: кто за плечи, кто за голову, кто за ноги. Теперь в доме столько смертей, что наша женщина-управдом совсем сбилась с ног. Первая и главная забота о хлебной карточке. В недавнем прошлом ее полагалось немедленно отобрать, чтобы на покойника не получали хлеб. А в каждой семье, где кто-либо умирал, старались скрыть хоть на несколько дней смерть, чтобы попользоваться лишней хлебной карточкой. Теперь вышло специальное постановление: родственники покойника могут не сдавать карточки в течение десяти дней, так как добавочный паек предназначается на похороны. Ведь могилу никто не соглашается рыть за деньги. Обычно родственники уплачивают хлебом только за рытье общей могилы, что обходится гораздо дешевле, и таким образом, за счет покойника, можно подкормить себя и семью. На любые уловки идут люди, чтобы протянуть земное существование.

27 января.

Сегодня хлеба нет — во всех булочных не было выпечки. И надо же случиться, что в такой тя-

желый день произошел счастливый случай: словно по чьему-то велению явилась Маруся. За отрез на платье, шифоновую блузку и какие-то мелочи она принесла мне четыре килограмма рису. Сварили большую кастрюлю рисовой каши. У Маруси желание приобрести ручные золотые часы. Досадно, что у меня их нет. Маруся подарила мне свою рабочую карточку на продукты. Но, к сожалению, этот подарок реализовать нельзя: в кооперативах ничего нет, а в нашей столовой по рабочей карточке ничего не отпускают — к столовой прикреплены только иждивенцы военных. При попытке использовать карточку можно только налететь на большие неприятности.

Получение обеда в нашей столовой забирает у меня половину дня. Это, кажется, самые мрачные часы сегодняшней моей жизни.

29 января.

Слухи о возможной эвакуации все усиливаются. Этих разговоров терпеть не может мой дядя, который настолько слаб, что не надеется выжить, если его даже и увезут из Ленинграда. Действительно, дорогу ему не перенести. Тут, окруженный заботами жены, он еще может держаться.

Сегодня после обеда прошел слух, что Тихвин освобожден. Значит, открылся путь на Вологду. Новые шансы на спасение.

30 января.

В четыре часа дня скончался дядя. Тетя открыла форточку и пошла на кухню. А он дремал. Она решила оставить его в покое — пусть поспит. А через несколько минут, когда она случайно зашла, он уже был мертвый. Так и застыл в спокойной своей обычной позе. Перенесли его в холодную комнату. Тетя, обожавшая его всю жизнь, ведет себя, как все теперь ведут — даже не плачет.

2 февраля 1942 года.

По дороге из госпиталя зашла к одной знакомой, которую не видела несколько месяцев. Была поражена тем, что увидела: на столе огромный кусок масла, приблизительно фунт, на сковороде шипят оладьи, а сынишка знакомой отказывается есть приготовленную ему гречневую кашу — она ему не нравится. Выяснилось то, что обычно выясняется в таких случаях: близкие родственники знакомой служат в кооперативе. Воруют и не знают нужды.

3 февраля.

Мой малыш Юрий начинает покрываться нарывами. Почти на каждом пальце по нарыву. Пробовали вскрыть, но появляются новые. Мальчик

начал хуже выглядеть. Главное, и у него появились признаки апатии, которой я боюсь больше всего. До последних дней он был единственным в доме бодрым и веселым. Копался во дворе, убирал снег, расчищал дорожки, колол дрова, а теперь тоже жметя к печке. Меня охватывает страшная тревога: старшего сына теряю в больнице, грозит опасность и малышу.

Врачи говорят, что за эту зиму вымерло очень много мужчин, к весне не выдержат женщины. Ведь женщины в общем выносливее, у них больший запас подкожного жира. Однако и они стали сдавать. Я сама замечаяю, что у меня одна щека толще другой, тело превратилось в скелет, на руках синие жилы, ноги опухли, передвигаюсь с большим трудом. Если слягу, вся семья погибнет. Кто будет приносить те ломтики хлеба, которые полагаются по карточке?

4 февраля.

Вчера поздно вечером раздался стук в парадную дверь. Меня спросил человек в полушубке с какими то знаками различия на петлицах. Оказывается, он пришел за документами для эвакуации. Пока я разыскивала необходимые бумаги, он ходил за мной и светил карманным фонариком. По неволе обратила внимание на его полное холенное лицо. Словно человек из другого мира, случайно попавший на нашу планету. А между тем, он то-

же ленинградец, переживающий осаду. В сотый раз думаешь о том, насколько разным может быть положение у людей, пользующихся какой-то властью или возможностями, и людей рядовых, у которых, кроме хлебной карточки, больше ничего нет.

Посетитель забрал наши документы и уехал. Заявил, что завтра мы должны эвакуироваться.

5 февраля.

Кончился день безумной тревоги. Окончательная укладка вещей завершилась в полной темноте. Не знаю, что взяла, что забыла. Мы устали так, что еле двигаемся. Мама, исхудалая и страшная, даже с признаками смерти на лице, тоже целый день копошилась, что-то складывала, связывала, собиралась словно на дачу. Муж ездил в госпиталь за Димой. Надеялась увидеть мальчика хоть сколько-нибудь поправившимся и страшно ошиблась: несколько дней назад у Димы началась дистрофия (это — тяжелое желудочное заболевание, которое свирепствует в нашем голодном городе). И, несмотря на тяжелое состояние Димы, главный врач госпиталя все же советовал его увезти, так как в Ленинграде очень мало надежд на поправку. С помощью шофера муж принес Диму на руках в нашу квартиру.

Итак, завтра уезжаем. Вот наш состав: семиде-

сятичетырёхлетняя мама, ослабевшая настолько, что в ней еле держится душа, шестидесятипятилетняя няня с опухшими ногами и тоже подкошенная голодной зимой, тяжело больной Дима, который сам передвигаться не может, маленький Юра, покрытый нарывами, и я. Я — единственная мало-мальски трудоспособная. Но я уже начала опухать, особенно сдала за последние дни.

Будущее меня пугает. Куда мы доедем и где сможем устроиться? Тетя, которая, после похорон дяди, тоже должна эвакуироваться с дочерью и двумя внуками, глядя на меня, тяжело вздыхает. Понимаю, что она очень сомневается в благополучном исходе нашей поездки. Ну что ж — увидим.. Делать нечего. Другого исхода нет. Сегодня приходили прощаться знакомые. Встречусь ли я когда-нибудь с ними? На Ирину, крестную мать Юрочки, которая была так уверена, что голодать не придется, страшно смотреть. Она вся распухла, ее недавно красивое лицо превратилось в прозрачную маску. Голод меняет внешность людей. Все ленинградцы теперь какие-то иссиня-черные, бескровные, опухшие. Если бы старались загримировать под умирающих голодной смертью, то едва ли получились бы такие уроды. Кроме Ирины Ключевой, поражает меня и другая приятельница, Женя, изящная, красивая женщина. Она всегда очень мало ела, а теперь голодными глазами смотрит на каждый кусок. Похоже, что собрались привидения.

11 февраля.

Вчера в десять часов утра высадились на платформе Череповца. Было холодно, валил снег, куда идти — неизвестно. Отвела маму в ближайший амбулаторный пункт.

11 февраля (продолжение записи).

Итак, Ленинград остался позади. Но сначала надо восстановить в памяти эти дни. Шестого февраля я проснулась очень рано, было еще совсем темно. Почти с самого начала войны я просыпалась с чувством безнадежности и тоски, но в этот день впервые ощутила чувство надежды и даже радости. Сначала побежала в булочную получить хлеб на дорогу. Вернувшись, зашла по обыкновению в комнату бывшей квартирохозяйки, Анастасии Владимировны, которой приносила хлеб и еду. Хотя в комнате был полный мрак, но взглянув в лицо старухи, я поняла, что она мертва. Вспомнила, как она боялась, что мы уедем. Вчера, узнав, что мы эвакуируемся, она пришла в полное отчаяние. Повидимому, этого последнего удара она и не выдержала. В самом деле — кто бы стал ей носить эти крохи, которые поддерживали жизнь в слабом теле? Кому нужен полутруп, если кругом умирают молодые и здоровые. Может быть, одинокая старушка осознала все это, и сил для сопротивления у нее больше не стало.

Чтобы не задерживать машины, вещи надо было перетаскивать на рассвете: отъезд назначен в восемь часов.

Ясное морозное утро. Перед нашим домом блестели на солнце заиндевевшие деревья. В синем небе ни единого облачка. Я любила такие дни, когда мороз пощипывает щеки, а солнце и снег слепят глаза. Но теперь было не до того. С трудом усаживаем в машину старушек, трудно было уложить Диму. В автомобиле уже находилась одна семья: мать какого-то военного, его жена и ребенок. Еще нужно заехать на Кировскую, в госпиталь, где собрались остальные эвакуирующиеся. Всего три машины для тридцати человек. На Кировской ждали долго, не меньше трех часов: запоздала семья зеведующего лазаретом. Окружающие говорили, что там не успели уложить многочисленные вещи. Наконец, появилась полнотелая, цветущая дама, элегантно и тепло одетая. С ней две упитанные девочки, примерно двенадцати-тринадцати лет. Кроме них, еще какая-то девочка со своей гувернанткой. Для таких семей строгих правил эвакуации не существует. Это только нам, простым смертным, не разрешается брать с собой знакомых. Потом прибывали еще какие-то люди, менялись местами, пересаживались. В кузов нашей машины втиснули какие-то огромные баки, в результате чего нельзя повернуться. Оказалось, что в баках находился бензин, воздух стал сразу необычайно тяжелым. Разумеется, начальство вы-

брало себе лучшую машину, а наша, которая имела какой-то дефект, должна была двигаться между двумя другими. Хотя я мало интересовалась окружающим, но, помимо воли, обратила внимание на то, что семьи работников госпиталя выглядели прекрасно. В нашу машину попал толстый мальчишка, сын заведующего госпиталем. Рядом с моим Димой он казался особенно румяным и цветущим, а Дима выглядел умирающим.

Наконец, все готово. Последние приветствия. Вижу, как следом за машинами, напрягая последние силы, бегут мой муж и молодой военный, семья которого находилась в нашей машине. Но вскоре мы теряем их из виду.

Мелькают кварталы города, с которым связаны семнадцать лет жизни. Проехали Знаменскую и снова на Кировской, бросаем последний взгляд на наш дом. Вот и Таврический сад, где я бегала еще ребенком. Дальше Педагогический Институт, где я училась. Промелькнул Смольный, потом знакомый пригород, дачные места, куда часто ездили по воскресеньям в битком набитых поездах.

А Дима все тяжелее опирается на меня. Ему плохо. Даю ему глотками вино из бутылки, стараюсь ободрить, уговариваю — скоро вырвемся из кольца, поедem на юг, будем все иметь, всласть есть и пить. Все это я говорю ему, а сама ничему не верю.

Подъехали к Ладожскому озеру, и тут начинаются наши страдания. В автомобиле что-то лома-

ется, машина дальше не идет, нас все обгоняют. Та машина, которая должна была следовать за нами и в случае нужды оказать помощь, уходит вперед, мы остаемся одни среди безграничного снежного поля. Шофер и его помощник мучаются с ремонтом. Становится все холодней. Мимо нас непрерывным потоком бегут машины — у всех единственное желание, как можно скорее переправиться через такое опасное место как Ладожское озеро, которое подвергается непрерывным бомбежкам и артиллерийским обстрелам. Начинаются сумерки. От двух наших других машин и следа не осталось. А мы проедем пять минут, и снова остановка. Начинаем сильно мерзнуть. Чтобы затопить печурку, приходится вытаскивать баки с бензином, а то может произойти взрыв. Все это сложно, тяжело, мучительно.

Только в десять часов вечера дотянулись до противоположного берега. Надеялись, что там нас ждут другие две машины. Но их не было. Положение еще больше усложнилось, так как никто не знал, на какой станции будет погрузка, где нам искать людей, ответственных за эвакуацию. Шоферы устроились на ночлег в какой-то избе, а нам пришлось в скрюченных позах провести ночь в машине. Это была бесконечная, томительная ночь. Наконец, рассвело. Тут я решила взять в свои руки инициативу: настояла на том, чтобы машина шла в Войбокало, где находился госпиталь, к начальнику которого я имела записку.

Только двинулись в путь, началась тревога. Летали немецкие самолеты, стреляли зенитки. Через несколько верст нас встретили две машины, с которыми выехали из Ленинграда. Заведующий госпиталем осыпает нас упреками за то, что мы отстали. А на другой день я случайно узнала, что начальство всю ночь кутило, получив продукты на весь транспорт. Конечно, их мало трогало то, что наша машина сломалась и что в ней находится умирающий мальчик. Единственное мероприятие, которое провел встретивший нас начальник госпиталя, заключалось в том, что он забрал из нашей машины своего цветущего сына. Но тут я уже не выдержала: почему в неисправной машине оставляют больного Диму. Меня поддержали попутчики. В результате и Дима был взят на другую машину с тем, чтобы довести его до Войбокало и устроить там в госпитале.

Позднее я увидела этот госпиталь: десяток палаток, разбросанных на снежном поле. Диму пришлось оставить в палатке, потому что его положение еще более ухудшилось. Наскоро попрощавшись с ним, второпях сунула ему его паспорт, нужно было мчаться на станцию, от которой через несколько минут должен был отходить наш поезд.

Вот я со своими старушками и Юриком в вагоне. Но там ни одного свободного места. Уселись на своих чемоданах. Но кроме этих неудобств, были мучения еще другого порядка. Утром жена начальника госпиталя и ее девочки достали жар-

ных кур, шоколад, сгущенное молоко, при виде которых Юрику сделалось дурно. Мое горло схватили спазмы, но не от голода.

К обеденному времени эта семья проявила «деликатность»: свой угол она занавесила, и мы уже не видели, как люди ели кур, пирожки и масло. Трудно оставаться спокойной от возмущения, от обиды, но кому сказать? Надо молчать. Впрочем, к этому привыкли уже за многие годы.

Ночная поездка хуже дневной. Руки отекли: всю ночь надо было держать на коленях Юрика. Никому из соседей не пришло в голову хоть временно уступить место. Мама и няня тоже измучились. А ко всему этому стучи молотком в дверь на каждой остановке. Не знаю, кто — железнодорожники или санитары — оглушительно стучат в стены теплушки и кричат: «Есть у вас мертвые? Давайте их сюда!»

12 февраля.

Вчера не успела дописать — сон свалил. Сегодня тоже ноги подкашиваются. Ведь день проводишь в беготне и хлопотах. Напрасно я думала, что достаточно выбраться из блокады и жить станет легче. Приходишь к убеждению, что во всей стране одинаково — голод, нищета, болезни и смерть, Главное — ничего нет. Будто за полгода люди съели все запасы. Юрик допытывается: «У них тоже все склады сторели? А кто их поджи-

гал?» Я не нахожу ответа не только на его вопросы, но и на свои собственные.

Лучше продолжу рассказ о нашем путешествии.

Поезд тащился медленно, часами стоял на станциях и полустанках. На этих стоянках в бесконечных очередях выдавали по справкам обед и хлеб. Обед — суп и каша. Правда, в первый день выдали немного колбасы. Однако мои спутники умудрились стянуть у меня колбасу. Сидя всю ночь с Юриком на руках, я не имела возможности следить за своими вещами.

В пути начались желудочные заболевания. Вероятно, потому что люди получили хоть немного еды, от которой совершенно отвыкли.

Поразительно — большинство пассажиров нашего вагона, представители интеллигенции, но вели себя самым бессердечным образом. На одной остановке няня вышла из вагона, задержалась и подошла в момент отправления поезда. Некоторым попутчикам пришлось ей помочь взобраться в теплушку. И этот ничтожный факт привел к тому, что буквально все присутствующие набросились на меня с бранью за то, что я не слежу за своими старушками. У меня не было сил, чтобы хоть как-нибудь противостоять этой орде злобных людей. Больше всех кричали те, кто имел в чемоданах продукты.

На четвертый день я решила высадиться в первом попавшемся городке — лишь бы прекратилась

мучительная поездка. Мы подъезжали к Череповцу. Там у меня ни родных, ни знакомых. Но среди попутчиков была некая Гаврилова, которую я немного знала по Ленинграду и которая рассказала, что в Череповце она имеет много друзей, она поговорит с ними, они помогут найти какое-нибудь пристанище. Я понимала, что сделать остановку крайне необходимо: маму дальше везти невозможно, она слабела с каждым часом, теряла последние силы от бессонных ночей. Кроме того, меня мучила мысль о Диме: отсюда, из Череповца быть может удастся съездить к нему в госпиталь.

Итак, мы на платформе череповецкого вокзала. Вокруг нас высокие сугробы. Над головой висит серое небо. Сыплется снег. От мороза прерывается дыхание. Я очень обрадовалась, когда можно было оставить маму в переполненном больными, зловонном, грязном амбулаторном пункте. Ведь я так боялась, что мама не перенесет страшной дороги и что на какой-нибудь остановке, на очередной вопрос: «Есть у вас мертвые?» попутчики скажут о маме.

Гаврилова отправилась на поиски в город. Мы стояли вокруг своих вещей. К нам подходили местные жители, выражали свое удивление, что мы высадились в Череповце. И тут же рассказывали, что в этом городе и его окрестностях свирепствует голод. Наконец, появилась Гаврилова. Сообщила, что имеется какая-то комната. Отправились по темным узким улицам окраины. Хозяева приста-

нища встретили нас угрюмо: оказалось, что тут больше всего боятся ленинградцев, потому что все они больные и голодные. О какой-либо помощи со стороны местных властей не могло быть и речи. В том числе и наши хозяева, у которых кладовая была полна продуктов. Я думаю об условности таких понятий как «свои люди» и «чужие люди». Сейчас я больше всего боюсь, что Юрик вдруг не выдержит и попросит у хозяев поесть.

15 февраля.

Остановка в Череповце нас не устроила. Продовольственное положение здесь очень тяжелое. Население получает по 400 граммов хлеба и больше ничего. Правда, для местных жителей это еще не трагедия, потому что они имеют свои огороды, в какой-то мере обеспечены картошкой и овощами. Нам же, приедем, существовать тут весьма трудно. Тем более, что эвакуированных в Череповце довольно много. Они задержались здесь проездом, как и мы, зачастую из-за болезни кого-нибудь из членов своей семьи. Главный начальник, ведающий делами беженцев, кратко и грубо заявил мне, чтобы я поскорее уезжала: проезжающим не отпускается хлеба больше, чем на три дня. Прописаться в Череповце, при отсутствии родственников, нет никакой возможности.

16 февраля.

С утра до ночи бегаю, стучусь во все двери. Первым делом надо получить разрешение на проживание в Череповце хотя бы две недели, чтобы а это время хоть немного оправилась бы мама и смогла бы вместе с нами ехать на Кавказ. Второй моей задачей является получение разрешения на проезд в Войбаколо за Димой. Я все же надеюсь, что ему стало лучше. Но все мои попытки ни к чему не привели: всюду отказ. Даже на кратковременное проживание в Череповце разрешения не дают: в городе много сбилось людей. Начальник НКВД, к которому я обратилась за пропуском для поездки в Войбаколо, категорически заявил, что гражданскому населению ни под каким видом не разрешается ездить в прифронтовую полосу.

17 февраля.

Забрала маму из амбулатории. Она слабеет с каждым часом. Няня еле передвигает ноги. Кормить их нечем. Все советуют устроить их в больницу. Ходила к врачу, вызвала его на дом, обещал навестить завтра. Посмотрим, что он посоветует.

18 февраля.

Сегодня старушек забрали в больницу. Правда, это только одно название — больница. В жизни не видела подобного лечебного заведения: неверо-

ятная грязь, постельное белье отсутствует, запах невыносимый, никакого ухода за больными нет.

Вчера вечером, возвращаясь из больницы, мы с Юрием заблудились. Наш путь лежит мимо церкви и кладбища, пройдя которое мы выходим на пустырь, потом опять начинаются улицы пригорода, на одной из которых мы живем. Очевидно, я потеряла направление. Шли мы долго, никаких признаков улиц. Юрик устал, ноги проваливаются в сугробы, он все время спрашивает меня — где же мы? Тут я не на шутку заволновалась. Вокруг ни одной души нет, не у кого узнать, где мы находимся. Сворачивали то направо, то налево, бродили больше двух часов, пока, наконец, не встретили одну старушку, указавшую нам направление. Получилось как в страшной сказке, читанной в детстве: идет горемычный человек по неведомой земле, вокруг — лес да звери, над ним усеянное звездами небо; остановится он, подымет глаза к звездам, помолится и опять бредет.

Голодный, вымирающий Ленинград оставлен. Вдвоем с маленьким Юриком мы затеряны в чужом городке. Не дают покоя постоянные думы о судьбе Димы и заботы о больных старушках. А ко всему этому издевательское, бездушное отношение людей, в руках которых сегодня наша судьба. Тех людей, от которых зависит хлебный паек, тарелка супа, угол, в котором можно приткнуться. Бывают минуты, когда хочется сложить руки, ни о чем не думать — будь что будет. Но человек

устроен иначе: при всех бедах и несчастьях остаток сил он использует для того, чтобы ухватиться за соломинку. Главным стимулом для меня являются дети.

20 февраля.

Ежедневно навещаю старушек — маму и няню. В больницу каждый день подвозят новых, полуживых ленинградцев, снятых с поездов. Каждое утро у двери больницы стоят широкие крестьянские сани, куда складывают покойников. Трупы везут прямо в поле, хоронят в общей могиле, без гробов, без отпевания. Сегодня около входа в больницу я увидела молодую женщину лет двадцати. Она сидела на снегу, к щекам ее примерзли слезы. Оказалось, что ночью у нее умер муж, такой же студент как и она. Они женаты были меньше года, изголодались в Ленинграде, удалось вместе эвакуироваться. По дороге их сняли с поезда, отправили в эту больницу. Мужа, как особенно истощенного, оставили на лечение — и вот он умер. Потом там же встретила я молодую чету: он инженер, она студентка. Их тоже сняли с поезда как обессиленных. Надеются окрепнуть и двинуться дальше на юг.

21 февраля.

Когда я прихожу в больницу, мама и няня первым делом рассказывают о том, что произошло

за истекшую ночь. Сегодня они сообщили, что скончались молодые супруги, на которых я вчера обратила внимание — инженер и жена его студентка. Умерли они почти одновременно. А еще ночью умерли четыре студентки, которых доставили в больницу очень поздно вечером. Мест не было, их положили на полу в коридоре, а к рассвету они стали четырьмя трупами.

А маме все хуже и хуже. Она выпила слишком много молока, а в ее состоянии — это гибель: опасное заболевание желудка. Именно от такого заболевания примерно месяц тому назад умерла Зоя Михайловна Тарновская.

Обратила внимание на одну особенность: в лечебнице полно больных, большинство которых интеллигентные люди — инженеры, педагоги, студенты, — а между тем никто не интересуется тем, что происходит на фронтах. Может быть, постоянные думы о своей судьбе или, может, голодное отупение приводят к потере интереса ко всему, происходящему за порогом больницы.

23 февраля.

Уже не было даже слабых надежд на какую бы то ни было помощь. Казалось, я с Юриком находимся в безлюдной снежной пустыне. И вдруг я открыла оазис. Бегая из одного учреждения в другое, случайно попала в эвакуопункт. В комнате сидели трое: молодой врач, второй врач-женщина и

молоденькая девушка за пишущей машинкой. К моему изумлению эти люди встретили меня очень приветливо. Распросили, обещали помочь в розысках Димы, взяли письма для отправки в госпиталь, позаботились о том, что если Димы там уже нет, узнать куда его отправили и где он может находиться в данное время. Конечно, много сделать они не могли, тем более что существуют строгие положения в отношении обеспечения беженцев и их дальнейшего передвижения. Но тем не менее стало легче на душе от приветливого слова, от искренней сердечной заботы.

На базаре, кроме клюквы, больше ничего нет. Покупаю клюкву и ем вместе с нею печеную картошку. Картофель удалось получить от одной крестьянки в обмен на отрез шерстяной материи. Такое угощение ношу старушкам в больницу — их там кормят очень скудно.

25 февраля.

Без конца пишу письма всем знакомым, адреса которых я имею. Посылаю телеграммы. Никаких ответов не получила. Чувствую себя отрезанной от всего мира. Думаю, что Робинзон Крузо был счастливым человеком: он твердо знал, что находится на необитаемом острове, что надо полагаться только на свои руки. А я среди людей.

Все хлопочу о возможности добраться до Вологды — надеюсь найти там Диму в одном из гос-

питалей. Мама в таком состоянии, что везти ее дальше невозможно. Врач утешает тем, что сердце у мамы хорошее, но я все же боюсь, что ей не поправиться. На-днях, уходил транспорт на Кавказ. Умоляла начальника по беженским делам устроить нас, но он отказал, заявив, что этот транспорт особого назначения. Потом стороной я узнала, что транспорт был предназначен для работников НКВД и ушел только наполовину заполненным. Впрочем, я уже привыкла к такой обиде, свыклась с сознанием, что даже во время страшного бедствия сохраняется различие между людьми.

26 февраля.

Бездушное отношение к нам лиц, от которых зависит дальнейшая отправка, в некотором смысле имеет положительный результат: благодаря этим отказам и пребыванию моих старушек в больнице, я, хотя и с перерывами, получаю продление карточек на хлеб. Вот уже две недели я в Череповце. Хоть и с трудом, но мы с Юрой перебиваемся.

За это время успела присмотреться к жизни городка. Бог знает, что в нем творится. Большие руководители, оказывается, регулярно, раз в неделю, а то и чаще, устраивают пиры. Чего только нет на этих вечерах! И все это из фонда, выделенного голодающим ленинградцам. Город маленький,

что в нем происходит, моментально известно. Я все это узнала от одной девицы, которая живет вместе с Гавриловой. А девица пользуется симпатией начальника горторга, присутствует на вечерах, которые он устраивает. Говорит, что на таких вечеринках еды всякой полно, и вино рекою льется.

26 февраля, ночью.

Может быть, виноваты петухи. У хозяев их два. После полуночи они орут в назначенное им время. Во всяком случае сон пропал. Зажгла лампу. Даже обычные тяжелые мысли не столько мучают, как неизвестное предчувствие. Очень беспокойно на душе. Хорошо, что Юра крепко спит. Не пошевельнулся, пока я пишу.

27 февраля.

Пришла в больницу раньше, чем обычно — до десяти. Нашла маму мертвой. Она скончалась под утро. Няня, кровать которой стоит рядом, рассказала, что мама умерла спокойно. Но, очевидно, няня пыталась меня утешить, потому что другая соседка рассказала, что мама перед смертью страшно металась. И это, несомненно, так было: у мамы скрючены руки, рот перекошен. Вообще она так изменилась, что, глядя на нее, не верится, что это

моя мама, в прошлом такая красивая. Долго стояла у постели. Плакала, мучили угрызения совести, что не смогла спасти ее, и, может быть, не скрасила последних дней ее жизни. Ведь я вся была поглощена заботами о насущном хлебе, о спасении детей и слишком мало уделяла ей внимания. Даже похоронить ее не могу — не найти людей, которые согласились бы копать отдельную могилу. Да и гробов нет. Всех свозят в общую могилу. Эти могилы так и называются — «ленинградскими». Их много зарыто — молодых и старых, мужчин, женщин и детей, оставивших Ленинград, но не спасшихся от голода. Пока я стояла, пришли за мамой. Равнодушные люди забирают трупы, сваливают их в общую кучу. Около больницы меня ждет Юрочка, играет в снегу. Его щеки за эти две недели порозовели. Только он возвращает меня к сознанию, к мысли, что еще надо жить. Что еще есть цель существования, что надо бороться, не сдаваться смерти, поглощающей столько жертв.

28 февраля.

Остается одно: дожидаться пока няня выйдет из больницы (а няне стало лучше) и немедленно уехать отсюда. Уехать подальше от этого места, где свалилось на голову столько горя и бед.

А кроме горя и бед — еще много унижений. Чего стоит вымаливание хлеба. Даже врагу не поже-

лаю пережить то, что мне пришлось пережить за эти две недели в Череповце. Еще счастье, что одна из сотрудниц городского управления приняла участие в моем безнадежном положении и продолжает выписывать мне талоны на хлеб и обеды. Она же каждый раз, когда я прихожу, уговаривает меня, как можно скорее уехать. Я понимаю ее: кроме участия, еще действует и страх, ведь ей придется плохо, если начальство узнает об ее поступке.

3 марта 1942 года.

Вернулась из больницы няня. Но еще очень слаба, еле двигается. Ума не приложу, как мне придется везти ее дальше. От Димы известий нет. Получила из госпиталя в Войбакало справку, что Дима включен в число эвакуируемых. Больных вывезли на восток, но куда именно, выяснить не удалось. В эвакуопункте узнала еще, что особенно слабых размещали по дороге в разных госпиталях.

Вот теперь и думай, как знаешь. При той организации, какая существует в больницах и госпиталях, найти кого-либо не представляется возможным. Остается только надежда, что если мальчик окреп, то, может быть, как-нибудь доберется до Ярославля или до Иваново-Вознесенска. А там есть знакомые. Авось, поддержат.

5 марта.

Все хожу на вокзал, делаю попытки уехать с транспортом, идущими из Ленинграда. Однако надежд почти никаких. Все эти транспорты необычно переполнены, в Череповце посадки нет. А уезжать же надо обязательно. И немедленно. Ведь вопрос о хлебном пайке стал вопросом жизни. Если эта милая девушка прекратит выписку талонов, а это она вправе сделать каждый день, то погибнем голодной смертью, здесь, в этом Череповце. Решительно ничего купить или достать здесь нельзя. Имея хлеб, я могу выменять его на молоко, которое так необходимо Юре. Обедов я уже давно не получаю. Только хлеб нас и спасает.

На-днях, ходила вместе с Гавриловой в деревню, верст за десять. Надеялись обменять на продукты некоторые вещи. Вернулись ни с чем. Крестьяне гонят прочь, им ничего не нужно. Тем более, что раньше они уже достали что угодно: ковры, всевозможные ткани и прочее. После этих унижений дала себе слово больше никогда не ходить. Слишком обидно чувствовать себя нищей, выпрашивающей кусок хлеба.

7 марта.

Хоть чуточку становится теплее на душе, когда встретишь какое-нибудь маленькое участие.

Наш суровый хозяин немного оттаял — приглашает по вечерам к самовару. Конечно, можно рассчитывать только на кипяток, но и то, слава Богу. Вдвойне теплее — от кипятка и от сочувствия.

10 марта.

Пришла телеграмма от тети из Сибири. Я ей сообщала о смерти мамы. Тетя спрашивает, чем она может мне помочь. А чем можно помочь, когда она в Сибири, а мы в Череповце.

Пробовала отыскать одного старого знакомого, который был приятелем мужа. Знаю, что он теперь занимает большой пост. Нашла его. Просила о помощи. Но вот именно помощи он оказать не может. Или не желает.

15 марта.

Будь что будет — решила уезжать. Сегодня же. Конечно, нет никаких перспектив на такую возможность. Но что делать? Возьму Юрика и няню, отправлюсь с ними на вокзал. Больше оставаться здесь нельзя. В хлебе отказали окончательно. О прописке не может быть и речи — я уже все испробовала.

Если до Димы дошло хоть одно из моих писем и он узнает, что я в Череповце, то наверняка прие-

дет сюда. Я умоляла врачей из эвакуопункта, чтобы они оказали ему помощь, если он вдруг появится.

17 марта.

Передо мной — зеркальное окно. За окном плывет сосновый лес. Я смотрю на этот лес, на сугробы, небо и не верю, что это действительность. Я сижу за столом, на котором стоит пишущая машинка, и не верю, что она стоит передо мной. Вообще я еще не свыклась с мыслью, что все это произошло на самом деле, а не приснилось.

Но надо все по порядку. Как я и решила, тогда же, пятнадцатого марта, расплатилась со своими хозяевами. Достала какие-то сани, на которые погрузила наши вещи. Мы брели за санями по снегу — я, Юрочка и няня. А потом нас догнала Гаврилова — в последнюю минуту она решила двинуться вместе с нами. Так мы и прибыли на железнодорожную станцию. Там нам сказали, что ни одного состава из Ленинграда не ожидается — сильная метель, занесло дорогу. Но мы остались на вокзале, расположились кое-как на своих вещах. Просидели до десяти часов вечера. И вдруг неожиданно пришел, будто вынырнул из метели эвакуационный поезд. Я умоляла начальника поезда взять нас. Он отнесся сочувственно, но предупредил, что весь состав забит школярами-ремесленниками, которые дезорганизованы до последнего предела.

Они могут разворовать вещи, способны отобрать у нас жалкие остатки еды. В общем он стал меня уговаривать дожидаться следующего дня. Делать было нечего. Решили вернуться в город, чтобы переночевать, а на следующий день начинать все сначала. Так и сделали: пришли к знакомым Гавриловой, спали вповалку на холодном полу. А утром — снова на вокзал. Еще когда подходили к станции увидели, что на путях стоят два состава. Один санитарный — чистенькие, новые, большие вагоны с наглухо закрытыми дверьми. Второй — с эвакуированными, грязными изможденными людьми. Оказалось, что один вагон-теплушка в этом составе был предоставлен для пассажиров из Череповца. Вот в него и надо было грузиться. А вокруг огромная толпа. Женщины с тюками, с сундуками, узлами, детскими колясками и прочим скарбом лезли в вагон. Дрались, орали, напирали друг на друга. Не знаю, откуда хватило силы протолкаться и все-таки втиснуть свои вещи и втиснуться самим. Няню кто-то ударил сундуком по голове. Несчастная почти без сознания. Юрик в ужасе стал кричать и плакать. Именно он завопил, чтобы высадиться из этого ужасного вагона. И я не выдержала. Стала выбрасывать наши вещи из вагона на платформу. Вслед за вещами протиснулись и мы. С нами Гаврилова. Она разъярилась до крайности. Решила, что я окончательно сошла с ума. Однако в вагоне не осталась. И вот мы опять столпились на платформе. Гаврилова настойчиво

требовала, чтобы я отправилась к начальнику вокзала. Но я ничего не соображала. Не знаю как, но я начала рассказывать о своем горе красноармейцам из санитарного поезда, которые стояли рядом. И вот один из них, пожилой усатый солдат, стал расспрашивать, где был оставлен Дима. И тут он сказал, что в поезде есть один мальчик в очках, что ему на вид, примерно, пятнадцать лет, только он очень слаб. Тогда у меня мелькнула безумная надежда — а вдруг это Дима, он же носил очки. Я протиснулась к вагону, на который указал красноармеец. Юрик, уцепившись за мою руку, бежал тоже. Видя эту картину, усатый солдат вскочил в вагон. Я стояла у подножки ни жива, ни мертва. Может, прошла минута, не больше, как в дверях показался Дима, бледный, опухший, слабый до крайности, но живой. Ему помогли спуститься по ступенькам вагона, и я уже обнимала его. А он валялся на снег — ноги не держали. Вероятно, эта сцена растрогала окружающих. Толпа вокруг нас росла. Я бросилась благодарить бойца, который привел нас к этому вагону. А он отмахнулся и дал совет: «Обратитесь к начальнику поезда. Еще несколько минут будем стоять». Если бы он не посоветовал, мне бы в голову не пришло просить о посадке в этот сияющий, состоящий из салон-вагонов поезд. Я смотрела на эти салоны, как на что-то недосыгаемое. Итак, я бросилась к штабному вагону. Мне удалось сразу найти главного врача. Сбиваясь на каждом слове, я рассказала ему свои

мытарства. «Подождите одну минуту», — сказал он и быстро куда-то ушел. Действительно через минуту-две он вернулся и предложил немедленно грузиться в санитарный поезд. Я бросилась назад, позвала няню, попросила людей, стоявших на платформе, помочь с погрузкой. Тут и Гаврилова мгновенно переменилась. Куда девалось ее озлобление. Только мы успели подхватить свои узлы и чемоданы, поезд двинулся.

Я чуть-чуть пришла в себя лишь тогда, когда уселась у широкого зеркального окна, того самого окна, у которого я сейчас пишу. Я видела, как удаляется от нас Череповец. Сколько выстрадать пришлось в этом городе, где мы прожили месяц и шесть дней. Ведь эти дни могли показаться вечностью. Трудно с чем-либо сравнить радостное сознание облегчения, что мы покидаем это злосчастное место. И одновременно тоска сжимает сердце от мысли, что здесь в общей могиле похоронена мама.

18 марта.

Сегодняшнее утро богато счастливыми минутами. Прежде всего мы хорошо выспались, впервые после многих тревожных дней и ночей. Я пошла к начальнику поезда, чтобы узнать, до какого места он разрешит ехать. Когда он узнал, что ближайший большой пункт Вологда меня не устраивает, то предложил ехать дальше: «Можем доез-

ти вас до Байкала». Чтобы оформить наше положение в поезде, он предложил мне работать машинисткой. Тем более, что моя машинка была со мной. Спустя полчаса я уже сидела в канцелярии штаба и предо мной лежали какие-то сводки — их надо напечатать. Мои опухшие пальцы не попадают на клавиши — последний раз я печатала полгода назад. Но надеюсь, что опухоль спадет, пальцы станут поворотливей. Главное, кажется, кончились унижения, выпрашивание куска хлеба. Ведь тут я по самому настоящему приказу служащая поездного штаба. Да и Юрик впервые в жизни оформлен по всем правилам: для того, чтобы ему был гарантирован паек, он включен в число санитаров, правда, без указания возраста. А возраст-то его всего-навсего неполных шесть лет.

Значит, мы спасены. Когда я пишу эти строки, поезд миновал Вологду, едем дальше, в Пермь. Мелькают занесенные снегом поля, леса, деревни. Поезд уносит нас все дальше. Позади — бомбежки, обстрел, голод, мрак, смерть.

.
.

26 октября 1964 года.

На светлом, поворотном к жизни пункте я тогда оборвала дневник. И дальше записи не продолжала, хотя о многом еще можно было сказать. Например, о дороге от Вологды до Нижнего-Новгорода. О длительной остановке в этом приволжском городе, где, кроме мамы, похороненной в Череповце, и мужа, оставшегося в Ленинграде, наша семья собралась в своем неполном составе.

Можно было бы еще многое добавить об участливом отношении случайно встреченных людей — врачебного и командного состава санитарного поезда, который доставил нас в более или менее спокойный, но все же голодный тыл.

Можно было бы добавить о пути из Нижнего-Новгорода на Кавказ, где вскоре после прибытия мы очутились в зоне, оккупированной немцами.

Наконец, последний этап — уход из родной страны, путь в неизвестность, скитания по руинам Германии, жизнь Ди-Пи, переезд из Европы в Америку, тяжелый и незнакомый ранее труд опять же во имя детей. А после всего этого университетская аудитория, в которой я читаю лекции.

Картины прошлого воскресли в моей памяти в этом же университетском городке, когда я полу-

чила гранки уже почти готовой моей книжки, задуманной ровно год тому назад.

Но я думаю не о книжке. Мои мысли переносятся на другой континент. Там, на окраине города, на поросшей густым лесом горе стоит православная церковь. Этот город называется Висбаден. На кладбище, небольшом и зеленом, расположенном сразу же за церковью, в прошлом году я похоронила то немногое, что осталось после Юрия.

Вот только это я и хочу добавить к гранкам уже как будто законченной книги.